www.LibAid.Ru – Электронная библиотека русской литературы

*Стихотворный сборник "Цветы зла" (1857) — наиболее значительное произведение Ш. Бодлера, одного из крупнейших поэтов Франции XIX в. Герой цикла разрывается между идеалом духовной красоты и красотой порока, его терзают ощущение раздвоенности и жажда смерти. В настоящем издании перевод Эллиса впервые дается с параллельным французским текстом. Его дополняет статья Теофиля Готье.*

**Теофиль Готье**

**ШАРЛЬ БОДЛЕР**

<…> Шарль Бодлер родился в Париже 21 апреля 1821 года, в одном из тех старых домов на улице Hautefeuille, на углах которых возвышались башенки в виде перечницы и которые, вероятно, исчезли совершенно благодаря городским властям, слишком приверженным прямой линии и широким путям.

Он был сын г. Бодлера, старого друга Кондорсе и Кабаниса, человека выдающегося, образованного и сохранившего ту обходительность XVIII века, которой не уничтожили совершенно, как это думают, претенциозно-грубые варвары республиканской эпохи. Это свойство перешло и к поэту, который всегда сохранял самую изысканную вежливость.

В ранние годы Бодлер не был чудо-ребенком, пожинающим школьные лавры. Он даже с трудом сдал экзамен на бакалавра и был принят почти из жалости. Г. Бодлер умер, и его жена, мать Шарля, вышла за генерала Опика, бывшего позднее посланником в Константинополе. В семье не замедлили возникнуть неудовольствия по поводу рано проявившегося у Бодлера призвания к литературе.

Эти родительские страхи при проявлении у сына зловещего поэтического дара — увы! — очень законны, и напрасно, по нашему мнению, биографы поэтов упрекают отцов и матерей в недомыслии и прозаичности. На какое печальное, неопределенное и жалкое существование, не говоря уже о денежных затруднениях, обрекает себя тот, кто вступает на тернистый путь, который зовется литературной карьерой!

С этого дня он может считать себя вычеркнутым из числа людей: всякая деятельность для него прекращается; он более не живет, он — только наблюдатель жизни. Всякое ощущение влечет его к анализу. Непроизвольно он раздваивается и, за недостатком другого объекта, становится собственным шпионом. Если нет трупа, он сам растянется на черной мраморной плите и каким-то чудом, нередким в литературе, вонзит скальпель в собственное сердце. А как жестока борьба с Идеей, этим неуловимым Протеем, принимающим всевозможные формы, чтобы ускользнуть, и выдающим свою тайну лишь тогда, когда его принудят силой показаться в своем истинном виде!..

Овладев Идеей, как овладевают врагом, растерянным и трепещущим под коленом победителя, надо ее поднять, облечь в сотканное для нее с таким трудом словесное одеяние, прикрасить его и драпировать строгими или грациозными складками.

Если борьба затягивается, то нервы раздражаются, мозг воспламеняется, восприимчивость становится слишком тонкой, является невроз с его капризным беспокойством, с его бессонницами, исполненными галлюцинаций, с его не поддающимися определению страданиями, болезненными прихотями, фантастическими извращениями, с его безумной энергией и нервными прострациями, с его стремлением к возбуждающим средствам и отвращением от всякой здоровой пищи. Я не сгущаю красок: многие смерти подтверждают истинность моих слов!

Я имею в виду только талантливых поэтов, познавших славу и умерших, по крайней мере, на лоне своего Идеала. А что было бы, если бы мы спустились в те загробные миры, где блуждают, среди теней младенцев, мертворожденные призвания, бесплодные порывы, личинки идей, не нашедших ни крыльев, ни форм, ибо желание — еще не власть, любовь — не обладание. Веры не достаточно, нужна благодать. В литературе, как в теологии, дела без милосердия — ничто. Родители и не подозревают всего ада терзаний; чтобы его познать как следует, надо самому спуститься по его кругам в сопровождении не Вергилия или Данте, а какого-нибудь Лусто, Люсьена де Рюбампре или кого-нибудь из журналистов Бальзака; но все-таки они инстинктивно предчувствуют опасности и страдания, свойственные жизни артиста или литератора, и стараются отвратить от нее своих детей, которых любят и которым желают положения, счастливого в общечеловеческом смысле.

Только раз, с тех пор как земля вращается вокруг солнца, нашлись родители, горячо желавшие иметь сына для того, чтобы посвятить его поэзии. Сообразно с этим намерением ребенку дали самое блестящее литературное образование — и, по жестокой иронии судьбы, из него вышел Шапелен, автор «Девственницы». Надо сознаться, что дело не выгорело!..

Бодлера отправили путешествовать, чтобы дать другое направление его мыслям, в которых он упорствовал. Его отправили очень далеко. Порученный капитану корабля, он объехал морем Индию, видел острова Маврикий, Бурбон, Мадагаскар, может быть, Цейлон, некоторые места в устьях Ганга и все-таки не отказался от своего намерения стать поэтом. Тщетно старались заинтересовать его торговлей, — сбыт товаров не занимал его; торговля быками для доставления бифштексов англичанам в Индии не прельщала его, и из всего длинного путешествия он вынес только ослепление пышностью, которое и сохранил на всю жизнь. Его пленяло небо, на котором блистают созвездия, неизвестные в Европе; великолепные исполинские растения с всепроникающим ароматом, прекрасные причудливые пагоды, смуглые фигуры, задрапированные в белые ткани, — вся эта экзотическая природа, такая знойная, мощная и яркая; в своих стихах он часто вновь и вновь возвращается от туманов и слякоти Парижа к этим странам лазури, света и ароматов. В его самых мрачных произведениях вдруг точно откроется окно, через которое, вместо черных труб и дымных крыш, глянет на вас синее море Индии или какой-нибудь золотой берег, где легкой поступью проходит стройная фигура полунагой жительницы Малабара, несущей на голове глиняный кувшин. Не желая вторгаться в личную жизнь поэта, мы все-таки позволим себе выразить предположение, что именно во время этого путешествия он создал себе культ черной Венеры, которому и остался верен всю жизнь.

Когда он вернулся из этих дальних странствований, наступило как раз его совершеннолетие. Не было больше никаких оснований (даже не возникало и денежных затруднений — он был богат, по крайней мере, на некоторое время) противиться призванию Бодлера. Призвание это только окрепло в борьбе с препятствиями, и ничто не могло теперь отклонить поэта от его цели. Поселившись в маленькой холостяцкой квартире под крышей того самого отеля «Пимодан», где мы с ним встретились позднее, как сказано выше, он начал вести ту жизнь, полную беспрестанно прерываемой и возобновляемой работы, бесплодного изучения и плодотворной лени, ту жизнь, какую ведет каждый писатель, ищущий своего собственного пути. Бодлер нашел его скоро. Он открыл не по сю, а по ту сторону романтизма неисследованную землю, нечто вроде дикой и грубой Камчатки, и на самой крайней точке ее построил себе, как говорит признававший его Сент-Бев, беседку или, скорее, юрту причудливой архитектуры.

Тогда были уже написаны многие из тех произведений, которые находятся в «Цветах зла». Бодлер, как все прирожденные поэты, с самого начала овладел формой и создал свой собственный стиль, которому он позднее придал еще большую выразительность и отделку, но все в том же направлении.

Бодлеру часто ставят в упрек умышленную вычурность и чрезмерную оригинальность, которой он стремится достигнуть во что бы то ни стало, особенно же так называемый маньеризм. На этом пункте следует остановиться. Есть люди, которые вычурны от природы. У них простота была бы, наоборот, аффектацией. Им пришлось бы приложить много стараний и много работать над собой, чтобы стать простыми. Извилины их мозга расположены таким образом, что идеи как бы изгибаются, запутываются и закручиваются в спираль, вместо того чтобы следовать прямой линии. Первыми у них появляются идеи самые сложные, самые утонченные и самые напряженные. Они видят вещи под странным углом зрения, изменяющим их вид и перспективу. Из всех образов их преимущественно поражают образы наиболее причудливые, необычные, наиболее фантастично-далекие от данного предмета, и они умеют вплетать их в основу таинственной нитью, тотчас же распутывающейся.

Таков был ум Бодлера — и там, где критики хотели видеть работу, усилие, преувеличение или искусственный пароксизм, там имело место только вполне свободное проявление личности. Его стихи, благоухающие как изысканные и редкие духи в прекрасно ограненных флаконах, давались ему не труднее, чем другому какое-нибудь общее место, дурно рифмованное.

Бодлер, воздавая великим учителям прошлого дань удивления, которую они заслужили с исторической точки зрения, не брал их за образец для подражания: им посчастливилось явиться в период юности мира, так сказать, на заре человечества, когда еще ничто не нашло себе изображения, и всякая форма, всякий образ, всякое чувство имели прелесть девственной новизны. Великие общие места, лежащие в основе человеческой мысли, были тогда в полном своем расцвете и удовлетворяли наивных гениев, говоривших с народами, не вышедшими из детства. Но благодаря повторениям эти общие поэтические темы поистерлись, как монета от долгого обращения. Кроме того, жизнь стала сложнее, обогатилась сведениями и идеями и не укладывается более в этих искусственных сочетаниях доброго старого времени.

Насколько обворожительна настоящая невинность, настолько раздражает и вызывает отвращение кривлянье, представляющееся наивным. Наивность не свойственна XIX веку; для передачи его мыслей, мечтаний, посылок нужен язык более сложный, чем так называемый классический стиль.Литература, подобно суткам, имеет свое утро, свой полдень, вечер и ночь. Вместо тщетных пререканий об относительном превосходстве утренней зари или сумерек, следует изображать тот именно час, который переживается, и теми красками, которые необходимы для передачи эффектов именно этого часа. Разве у заката не может быть своей собственной красоты, как и у утра? Эта красноватость меди, это зеленоватое золото, эти оттенки бирюзы, сливающиеся с сапфиром, все эти краски, пылающие и разрешающиеся в большой общий пожар, эти облака странных и чудовищных форм, пронзенные лучами света и кажущиеся гигантскими развалинами воздушного Вавилона, — разве в них меньше поэзии, чем в розовоперстой Авроре, которою мы восхищаемся?.. Но давно уже пролетели Часы, предварявшие колесницу Дня на плафоне Гвидо!..

Поэт «Цветов зла» любил то, что ошибочно называется стилем декадансаи есть не что иное, как искусство, достигшее той степени крайней зрелости, которая находит свое выражение в косых лучах заката дряхлеющих цивилизаций: стиль изобретательный, сложный, искусственный, полный изысканных оттенков, раздвигающий границы языка, пользующийся всевозможными техническими терминами, заимствующий краски со всех палитр, звуки со всех клавиатур, усиливающийся передать мысль в самых ее неуловимых оттенках, а формы в самых неуловимых очертаниях; он чутко внимает тончайшим откровениям невроза, признаниям стареющей и извращенной страсти, причудливым галлюцинациям навязчивой идеи, переходящей в безумие. Этот «стиль декаданса» — последнее слово языка, которому дано все выразить и которое доходит до крайности преувеличения. Он напоминает уже тронутый разложением язык Римской империи и сложную утонченность византийской школы, последней формы греческого искусства, впавшего в расплывчатость. Таким бывает, необходимо и фатально, язык народов и цивилизаций, когда искусственная жизнь заменяет жизнь естественную и развивает у человечества неизвестные до тех пор потребности.

Кроме того, этот слог, презираемый педантами, далеко не легкая вещь: он выражает новые идеи в новых формах и словах, которых раньше не слыхивали. В противоположность «классическому стилю» он допускает неясности, и в тени этих неясностей движутся зародыши суеверия, угрюмые призраки бессонницы, ночные страхи, угрызения совести, вздрагивающей и озирающейся при малейшем шорохе, чудовищные мечты, которые останавливаются только перед собственным бессилием, мрачные фантазии, которые способны изумить весь мир, и все, что скрывается самого темного, бесформенного и неопределенно-ужасного в самых глубоких и самых низких тайниках души.

Понятно, что 1400 коренных слов языка не удовлетворяют автора, который взял на себя тяжелую задачу изобразить современные идеи и вещи в их бесконечной сложности и многообразной окраске. Таким образом, Бодлер, который, несмотря на малые успехи при экзамене на бакалавра, был хорошим латинистом, наверное, предпочитал Вергилию и Цицерону — Апулея, Петрония, Ювенала, Блаженного Августина и Тертулиана, слог которого имел мрачный блеск черного дерева. Бодлер доходил даже до церковной латыни, той прозы и тех гимнов, в которых рифмы воспроизводят забытый античный ритм. Он написал под заглавием «Franciscae meae Laudes» к «ученой и благочестивой модистке» (как гласит посвящение) латинские стихи, рифмованные в той форме, которую Бризе называет тройственной,— состоящей из трех рифм, которые следуют одна за другой, вместо того чтобы переплетаться, как в Дантовой терцине. К этому странному стихотворению присоединено не менее странное примечание, которое я привожу здесь; оно объясняет и подкрепляет только что сказанное мною о стиле языка декаданса.

«Не кажется ли читателю вместе со мной, что язык последнего времени латинского декаданса — последний вздох сильного человека, уже созревшего и подготовленного к духовной жизни — удивительно удобен для выражения страсти, как ее понимает и чувствует современный поэтический мир? Мистицизм — это полюс магнита, противоположный тому полюсу чувственности, который исключительно знал Катулл и его последователи, поэты грубые и животно-чувственные.

Этот удивительный язык своими солецизмами и варваризмами передает, как мне кажется, доведенную до чрезмерности распущенность страсти в ее самозабвении и пренебрежении правилами. Слова, взятые в новом значении, обнаруживают обворожительную неловкость северного варвара, преклоняющего колени перед римской красотой. Даже каламбур, пройдя через это педантическое заикание, как бы приобретает дикую грацию и детскую неправильность».

Не следует заходить слишком далеко. И Бодлер, если ему не надо выразить какого-нибудь удивительного отклонения, какой-нибудь неизвестной стороны души или вещи, выражается языком чистым, ясным, правильным и настолько точным, что самые строгие судьи ни в чем его не упрекают. Это особенно заметно в его прозе, когда он говорит о предметах более обычных и менее отвлеченных, чем в своих стихах, почти всегда полных крайней концентрации.

Что касается философских и эстетических теорий Бодлера, то он примыкал к доктрине Эдгара По, которого, однако, в то время он еще не переводил, но с которым у него была поразительная конгениальность. К нему применимы его собственные слова об американском авторе в предисловии к «Необычайным рассказам»: «Он считал прогресс, великую современную идею, за экстаз легковерных и называл усовершенствования человечества рубцами и прямолинейными мерзостями. Он верил в неизменное, в вечное, в self-same и обладал — о жестокое преимущество — среди самовлюбленного общества тем великим здравым смыслом Макиавелли, который, подобно огненному столбу, шествует перед мудрецом в пустыне истории».

Бодлер чувствовал непреодолимый ужас перед филантропами, прогрессистами, утилитаристами, гуманистами, утопистами и всеми, кто тщится что-нибудь изменить в неизменной природе и в роковом устройстве общества. Он не мечтал об упразднении ада или гильотины для большего удобства грешников и убийц; он не думал, что человек рожден добрым, и допускал первородный грех как элемент, который всегда найдется в глубине самых чистых душ, т. е. ту греховность, которая, как дурной советчик, всегда натолкнет человека на то, что для него гибельно, — и именно потому, что это гибельно, из одного удовольствия воспротивиться закону, ради одной прелести ослушания, помимо всякой чувственности и соблазна. Такую греховность он констатировал и бичевал и в других и в себе, как застигнутого на месте преступления раба, но воздерживался от всякого проповедничества, считая эту греховность неизлечимой в силу вечного проклятия.

Напрасно близорукие критики обвиняли Бодлера в безнравственности. Эта очень удобная для завистливой посредственности тема обвинения всегда радостно подхватывается фарисеями, людьми вроде Ж. Прудона. Никто не питал более высокомерного отвращения к духовной низости и телесному безобразию, чем Бодлер. Он ненавидел зло, как отклонение от математической правильности, от нормы, и в качестве безупречного джентльмена презирал его, как неприличное, смешное, мещанское и, главное, неопрятное. Если он часто касался предметов безобразных, отвратительных и болезненных, то это объясняется теми чарами,которые заставляют замагнитизированную птицу спускаться к нечистой пасти змеи. Но часто сильным взмахом крыла он разрушает эти чары и вновь поднимается в самые лазурные области чистого духа. Он мог бы вырезать девизом на своей печати слова: «Сплин и Идеал», которые служат заглавием 1-й части тома его стихов. Если его букет составлен из странных цветов с металлическим оттенком, с головокружительным запахом, — венчик которых, вместо росы, содержит едкие слезы или капли aqua toffana, — он может ответить, что иные цветы и не растут на черной и насыщенной гниющими веществами почве, какова почва кладбища старчески-хилых цивилизации, где среди вредных миазмов разлагаются трупы прошлых веков; без сомнения, незабудки, розы, маргаритки, фиалки — все это приятные весенние цветы, но их не встретишь на грязной мостовой большого города.

Кроме того, раз Бодлер постиг грандиозность тропического пейзажа с его вздымающимися, как грезы, гигантскими деревьями необычайной красоты, его мало трогали жалкие сельские пейзажики городских окрестностей, и он не приходил в восторг, подобно гейневским филистерам, от романтического расцвета новой зелени и не лишался чувств от чириканья воробьев. Он любит следовать по всем закоулкам Парижа, за бледным человеком, искаженным, изнывающим в судорогах искусственных страстей и реальной современной скуки, любит захватить его врасплох в его тревоге, страхах, бедствиях, падениях, в его неврозе и отчаянии. Он наблюдает, как копошатся, подобно кольцам гадюки под разгребенным мусором, зарождающиеся дурные инстинкты, низкие привычки, лениво погрязшие в тине, в грязи, и при этом зрелище, которое и привлекает его внимание и внушает ему отвращение, им овладевает неисцелимая меланхолия: он не считает себя лучшедругих и страдает, видя, как чистый свод небес и целомудренные звезды окутываются нечистыми испарениями.

Понятно, что с подобными идеями Бодлер стоял за безусловную свободу искусства, он не допускал для поэзии иной цели, кроме поэзии, иной миссии, кроме пробуждения в душе читателя ощущений прекрасного в безусловном смысле этого слова. К этому ощущению в наше далеко не наивное время он считал необходимым прибавить некоторые эффекты неожиданности, удивления, изысканности. Насколько возможно, он изгонял из поэзии риторику, страсти и рабски-точное воспроизведение действительности. Подобно тому, как не следует употреблять в ваянии куски только что вылепленные, так и он хотел, чтобы всякий предмет, прежде чем войти в сферу искусства, испытал превращение, которое усвоило бы его этой тонкой среде, идеализируя и удаляя от тривиальной действительности. Эти принципы могут поразить при чтении некоторых стихов Бодлера, в которых ужасное кажется желанным; не следует заблуждаться: это ужасноевсегда и в своей сущности и в проявлении преобразовано лучом в духе Рембрандта или чертой величия в духе Веласкеса, обнаруживающей породу под отвратительным безобразием. Смешивая в своем котле все фантастически-странные и кабалистически-ядовитые составные части, Бодлер может сказать вместе с ведьмами Макбета: «Прекрасное — ужасно, ужасное — прекрасно!» Это преднамеренное безобразие не противоречит высшей цели искусства, и стихи, подобные «Семи старикам» или «Маленьким старушкам», заставили св. Иоанна поэзии, грезящего на Патмосе-Гернсей, сделать следующую характеристику автора «Цветов зла»: «Вы обогатили небо искусства каким-то мертвящим лучом; вы создали новый вид ужаса». Но это только, так сказать, тень таланта Бодлера, та огненно-рыжая или холодно-синеватая тень, которая служит ему для оттенения основной яркой манеры изображения. Этому таланту — с виду неровному, лихорадочному и мучительному — присуща чистая ясность. На горных вершинах он спокоен: Pacem summa tenent.

Но вместо того чтобы излагать эти идеи автора, гораздо проще предоставить ему говорить самому за себя: «Если только захотеть углубиться в себя, вопрошать свою душу, вызывать воспоминания своих восторгов, то у поэзии не будет иной цели, кроме самой поэзии; она не может иметь другой цели, и никакая поэма не будет столь возвышенна, столь благородна, столь поистине достойна названия поэмы, как та, которая будет написана единственно из удовольствия написать поэму. Я не могу сказать, что поэзия не облагораживает нравы (пусть меня хорошенько поймут), что ее конечным результатом не будет возвышение человека над интересами толпы. Это было бы очевидной нелепостью. Я говорю, что поэт, преследуя моральную цель, уменьшает поэтическую силу, и без риска можно утверждать, что произведение его будет дурно. Поэзия не может под страхом смерти или падения ассимилироваться с наукой или моралью. Предметом ее должна быть онасама, а не истина.Истина доказывается иными способами и в ином месте. У истины нет ничего общего с песнями; все, что составляет очарование, неотразимую прелесть песни, — все это только лишило бы истину власти и могущества. Холодный, спокойный, бесстрастный дух доказательства пугает Музу с ее алмазами и цветами: ведь он — безусловная противоположность Духу поэзии. Чистый разум стремится к Истине, эстетический вкус ищет Красоты, а моральное нравственное чувство научает нас Долгу.Правда, чувство золотой середины имеет близкое соприкосновение с двумя крайностями и так мало разнится от морального нравственного чувства, что Аристотель не поколебался занести в разряд добродетелей некоторые из его тонких проявлений. Итак, что особенно возмущает человека с развитым вкусом в зрелище порока — это его безобразие, дисгармоничность. Порок покушается на справедливость и истину, возмущает разум и совесть; но, как нарушение гармонии, как диссонанс, он особенно оскорбляет поэтичные души, и я считаю уместным смотреть на всякое нарушение морали — моральной красоты как на преступление против мирового ритма, мировой просодии.

Этот дивный, этот бессмертный инстинкт прекрасногозаставляет нас видеть в земле и ее зрелищах только намек, отражение соответствий небесному.Неутолимая жажда всего, что по ту сторону, что скрыто за жизнью, — самое яркое доказательство нашего бессмертия. Красоту и величие, скрытые за могилой, душа провидит в поэзии и через поэзию, в музыке и через музыку. И когда чудная поэма вызывает слезы на наши глаза, то слезы эти льются не от избытка наслаждения, они скорее свидетельствуют о проснувшейся грусти, об одухотворении нервов, о природе, страждущей в несовершенстве, которая стремится сейчас же, здесь же на могиле, овладеть открывшимся для нее раем.

«Итак, начало, принцип поэзии, говоря кратко и просто, — стремление человека к высшей Красоте, а проявление этого начала — в энтузиазме, в возвышенном состоянии души, энтузиазме, свободном от страсти, опьяняющей сердце, и от истины, питающей разум. Ведь страсть — вещь земная, даже слишком земная, чтобы не ввести режущего, фальшивого звука в царство красоты; слишком обыденная и слишком резкая, чтобы не оскорбить чистые желания, нежную грусть и благородное отчаяние в надземных областях поэзии».

Хотя мало найдется поэтов, более блещущих оригинальностью непроизвольных вдохновлений, чем Бодлер, все-таки он утверждает, — вероятно, из отвращения к ложному лиризму, притворяющемуся, что верит в сошествие огненных языков на писателя, но с трудом рифмующего строфу, — что истинный творец вызывает, направляет и изменяет по своей воле эту таинственную способность литературного творчества, и в предисловии к переводу знаменитой поэмы Эдгара По, озаглавленной «Ворон», мы находим следующие строки, полуиронические, полусерьезные, где собственная мысль Бодлера формулируется под видом анализа мысли американского писателя.

«Говорят, поэтика составляется по образцам поэм. Вот поэт, который утверждал, что его поэма была составлена по правилам поэтики. Конечно, он был великим гением и более вдохновенным, чем кто-либо, если под вдохновением разуметь энергию, интеллектуальный энтузиазми власть держать свои способности в напряженном состоянии. Но он также любил работать более, чем кто-либо другой; он любил повторять — он, автор безупречной оригинальности, — что оригинальности надо учиться; но это, конечно, не значит, чтобы можно было передать оригинальность путем обучения. Случай и непонятное — два великие врага. Отдавался ли он вдохновению, из какого-то странного и забавного тщеславия, гораздо менее, чем ему было свойственно по природе? Сдерживал ли свой природный дар, чтобы уступить лучшую часть воле? Я очень склонен думать так; хотя, впрочем, не следует забывать, что гений его при всей своей пылкости и живости был страстно предан анализу, комбинированию и расчету. Одной из его любимых аксиом было: «В поэме, как и в романе, в сонете, как и в новелле, — все должно клониться к развязке. Хороший автор видит уже последнюю строчку, когда только пишет первую». Благодаря такому удивительному методу автор может начать свое произведение с конца и работать, когда ему вздумается, над какой угодно частью. Поклонники творческого исступления,может быть, будут возмущены такими циничными правилами; но всякий может поступать по своему вкусу. Всегда полезно показать, какую выгоду искусство может извлечь из сознательности, и дать понять светским людям, какого труда требует тот предмет роскоши, который зовется поэзией. В конце концов, гению всегда разрешается маленькая примесь шарлатанства, что даже идет ему. Это подобно румянам на щеках от природы прекрасной женщины, новая прикраса для духа».

Эта последняя фраза характерна и выдает особую склонность поэта к искусственности.Он, впрочем, и не скрывал этой склонности. Ему нравилась эта сложная и иногда деланная красота, которая вырабатывается у цивилизаций очень развитых и очень испорченных. Чтобы выразить свою мысль образно, скажем, что он предпочел бы наивной молодой девушке, вся косметика которой заключается в чистой воде, женщину более зрелую, употребляющую все средства изощренного кокетства перед туалетом, уставленным всякими эссенциями, щеточками и щипчиками. Глубокий аромат кожи, пропитанной благовониями, подобно коже Эсфири, которую погружали шесть месяцев в пальмовое масло и шесть месяцев в кинамон, прежде чем представить ее царю Артаксерксу, оказывал на него опьяняющее действие. Легкий слой румян китайской розы или гортензии на свежей щеке, мушки, вызывающе налепленные в углах губ или глаз, подрисованные веки, окрашенные в рыжий цвет и посыпанные золотом волосы, губы и кончики пальцев, оживленные кармином, — все это нравилось ему. Он любил это ретуширование природы искусством, благодаря которому опытная рука делает заметнее прелесть, очарование и характер физиономии. Он, во всяком случае, не разразился бы добродетельными тирадами против притирания и кринолина. Все, удалявшее мужчину, а особенно женщину от природного состояния, казалось ему счастливым изобретением. Такие малоприменимые вкусы сами объясняются и понятны у поэта декаданса, автора «Цветов зла». Мы никого не удивим, если прибавим, что простому запаху розы или фиалки он предпочитал бензой, амбру и даже мускус, презираемый в наше время, а также аромат некоторых экзотических цветов, который слишком силен для наших умеренных стран. Относительно запахов у Бодлера была такая удивительно-изощренная впечатлительность, какая встречается только у жителей Востока. Он с наслаждением проходил всю гамму благоуханий и мог с полным правом применить к себе фразу, цитируемую Банвилем: «Моя душа порхает в волнах благовоний подобно тому, как душа других парит в музыке». Он любил также туалеты изысканно-элегантные, капризно-роскошные, дерзко-фантастические, в которых было что-то напоминающее актрису или куртизанку; хотя сам одевался всегда со строгой простотой, но вкус ко всему преувеличенному, кричащему, противоестественному, почти всегда противоположный классически-прекрасному, был для него признаком человеческой воли, исправляющей по-своему формы и цвета, присущие материи. Там, где философ находит только предлог для декламации, он видел доказательства величия. Извращение, т. е. удаление от нормального типа, невозможно для животного, неизбежно руководимого неизменным инстинктом. На том же основании поэты вдохновения, творящие бессознательно и безвольно, внушали ему некоторое отвращение, и он хотел, чтобы в самой оригинальности имело место искусство и работа.

Бодлер был натурой тонкой, сложной, резонирующей, парадоксальной и более склонной к философствованию, чем обыкновенно бывают поэты. Эстетика творчества очень его занимала; он был полон систем, которые пытался осуществить, и все, что он делал, было подчинено плану. По его мнению, литература должна быть намеренной,и доля случайногов ней должна быть доведена до возможного минимума. Это не мешало ему, как истинному поэту, пользоваться счастливыми случайностями при выполнении и теми красотами, которые неожиданно распускаются из глубины самой темы, подобно цветам, случайно попавшим в семена сеятеля. Каждый художник до некоторой степени подобен Лопе де Вега, который в момент сочинения своих комедий всякие правила замыкал на шесть замков — con seis Haves.

В пылу работы, произвольно или нет, он забывает все системы и парадоксы.

Слава Бодлера, в течение нескольких лет не выходившая за пределы небольшого кружка, центром которого всегда становится нарождающийся гений, вдруг прогремела, когда он явился перед публикой с букетом «Цветов зла», букетом, не имеющим ничего общего с невинными поэтическими пучками начинающих. Цензура взволновалась, и несколько стихотворений, бессмертных по своей мудрости, которая так глубока, так скрыта под искусственными формами и покровами, что для понимания этих произведений читателям необходимо было высокое литературное образование, были изъяты из сборника и заменены другими, менее опасными по своей исключительности. Обычно сборники стихов не производят много шума; они появляются на свет, прозябают втихомолку, так что самое большее двух-трех поэтов достаточно для нашего умственного потребления.

Вокруг Бодлера сейчас же возник шум и блеск, а когда волнение утихло, то признали, что он дал — что очень редко — произведение оригинальное, обладающее совершенно особенной прелестью. Вызвать новые, еще неизведанные ощущения— величайшее счастье, которое может выпасть писателю, а особенно поэту.

«Цветы зла» — одно из тех счастливых названий, которые найти бывает труднее, чем обычно думают. Оно резюмирует в краткой и поэтичной форме общую идею книги и указывает ее направление. Хотя очевидно, что и по намерению и по исполнению Бодлера надо отнести к романтической школе,но у него нет ясно выраженной связи ни с одним из великих учителей этой школы. Его стих, утонченной и искусной конструкции, и иногда слишком сжатый, охватывающий предмет скорее как панцирь, чем как одежда, представляет при первом чтении некоторые затруднения и неясности. Это зависит не от недостатков автора, а от того, что сами предметы, о которых он говорит, так новы, что еще никогда раньше не были переданы литературными средствами. Поэтому пришлось создавать язык, ритм и палитру. Но он не мог помешать тому удивлению, которое должны были вызвать у читателя стихи, настолько непохожие на все писавшиеся раньше. Для изображения этой ужасающей его извращенности он сумел найти болезненно-богатые оттенки испорченности, зашедшей более или менее далеко, эти тоны перламутра и ржавчины, которые затягивают стоячие воды, румянец чахотки, белизну бледной немочи, желтизну разлившейся желчи, свинцово-серый цвет зачумленных туманов, ядовитую зелень металлических соединений, пахнущих, как мышьяковисто-медная соль, черный дым, стелющийся в дождливый день по штукатурке стен, весь этот адский фон, как бы нарочно созданный для появления на нем какой-нибудь истомленной, подобной привидению головы, и всю эту гамму исступленных красок, доведенных до последней степени напряжения, соответствующих осени, закату солнца, последнему моменту зрелости плода, последнему часу цивилизаций. Книга открывается обращением к читателю, которому автор вместо того, чтобы ублажать его, как это обыкновенно делается, говорит самые жестокие истины, обвиняя его, несмотря на его лицемерие, во всех пороках, которые он порицает в других, обличает его в том, что он питает в своем сердце величайшее чудовище современности — Скуку, при всей своей мещанской пошлости плоско грезящую о римских жестокостях и разврате, обличает в чиновнике Нерона, в лавочнике Гелиогабала.

Другое стихотворение величайшей красоты, названное, без сомнения, в силу иронической противоположности «Благословением», изображает появление в мир поэта, предмета изумления и отвращения для собственной матери, стыдящейся плода своих недр; поэта, преследуемого глупостью, завистью и язвительными насмешками, жертву вероломной жестокости какой-нибудь Далилы, с радостью предающей филистимлянам его, обнаженного, обезоруженного, обритого, предварительно истощив над ним весь запас утонченно-жестокого кокетства, поэта, приходящего, наконец, после оскорблений, несчастий, мук, очищенным крестными страданиями, к вечной славе, к светлому венцу, предназначенному на чело мучеников, страдавших за Истину и Красоту.

Следующее за этим маленькое стихотворение, озаглавленное «Солнце», заключает что-то вроде безмолвного оправдания поэта в его бесцельных странствованиях. Веселый луч блестит над грязным городом, автор выходит из дому и, приманивая, как поэт, свои стихи на дудочку — пользуясь живописным выражением старого М. Ренье, — бродит по отвратительным переулкам, по улицам, в которых закрытые ставни скрывают, подчеркивая их, тайны сладострастия, по всему этому лабиринту мрачных, сырых и грязных старых улиц с кривыми, зараженными домами, в которых там и сям вдруг на каком-нибудь окошке блеснет цветок или головка девушки. Поэт, подобно солнцу, входит всюду — в больницу и во дворец, в притон и в церковь — всегда чистый, всегда лучезарный, всегда божественный, безразлично проливая свой золотой блеск на падаль и на розу.

В «Парении» поэт является нам плавающим в небесах, в надзвездных сферах, в светозарном эфире на границах нашей вселенной, исчезающим в глубине бесконечного, как маленькое облачко; он упивается этим разреженным и целительным воздухом, до которого не подымаются миазмы земли и который благоухает дыханием ангелов: не надо забывать, что Бодлер, несмотря на частые обвинения его в материализме — упрек, который глупость никогда не преминет бросить таланту, — напротив, одарен был в высокой степени даром спиритуальности,как сказал бы Сведенборг. Он обладал также и даром «соответствования»(correspondence), если держаться того же мистического языка, т. е. умел открыть тайной интуицией отношения, невидимые для других, и таким образом сблизить неожиданными аналогиями, которые может уловить только ясновидящий, предметы, на поверхностный взгляд самые далекие и самые противоположные. Всякий истинный поэт одарен в большей или меньшей степени этим качеством, составляющим саму сущность его искусства.

Без сомнения, Бодлер в эту книгу, посвященную изображению современной испорченности и развращенности, занес много отвратительных картин, в которых обнаженный порок валяется в грязи во всем безобразии своего позора; но поэт с величайшим отвращением, с презрительным негодованием и с возвратом к Идеалу, чего часто не бывает у сатириков, стигматизирует и неизгладимо клеймит каленым железом все эти нездоровые тела, натертые мазями и свинцовыми белилами. Нигде жажда девственного и чистого воздуха, непорочной белизны снегов Гималаев, безоблачной лазури, неугасаемого света не проявляется с большим пылом, чем в этих произведениях, заклейменных безнравственными, как будто бичевание порока есть сам порок и как будто сам становится отравителем тот, кто опишет аптеку ядов дома Борджиа.

Этот способ не нов, но он всегда удавался, и некоторые люди делают вид, что верят, будто нельзя читать «Цветы зла» без стеклянной маски, какую носил Экзили, когда работал над своим знаменитым порошком наследственности. Я часто читал стихи Бодлера — и не упал замертво с искривленным лицом, с телом, покрытым черными пятнами, как будто после ужина с Ваноццой в винограднике Папы Александра VI. Все эти нелепости, к несчастью вредные, потому что все глупцы принимают их с восторгом, заставляют художника, достойного этого имени, пожимать плечами от удивления, когда ему сообщают, что синеенравственно, а красноенеприлично. Это — почти то же самое, что картофель добродетелен, а белена преступна.

Прелестное стихотворение о запахах разделяет их на классы, возбуждающие различные идеи, ощущения и воспоминания. Бывают запахи свежие, как тело ребенка, зеленые, как луга весной, бывают напоминающие розовую зарю и несущие с собой невинные мысли. Другие — подобные мускусу, амбре, бензою, ладану — великолепны, торжественны, светски, вызывают мысли о кокетстве, любви, роскоши, празднествах и блеске. Если их перенести в сферу цветов, они соответствуют золоту и пурпуру.Поэт часто возвращается к этой мысли о значении запахов.Около дикой красавицы, капской синьоры или индийской баядерки, затерявшейся в Париже, имевшей, кажется, своей миссией усыпить его тоскливый сплин, он говорит о том смешанном запахе «мускуса и гаваны», который переносит его душу к берегам, любимым солнцем, где в теплом синем воздухе вырисовываются веером листья пальм, где мачты кораблей покачиваются от гармонической морской зыби, а молчаливые невольники стараются отвлечь молодого господина от его томительной меланхолии.

Далее, спрашивая себя, что останется от его произведений, он сравнивает себя со старым закупоренным флаконом, забытым среди паутины в каком-нибудь шкафу, в пустом доме. Из открытого шкафа вырывается вместе с затхлостью прошлого слабый запах платьев, кружев, пудрениц, который воскрешает воспоминания о минувшей любви, о былом изяществе; и если случайно откроют липкий и прогоркший флакончик, оттуда вырвется едкий запах английской соли и уксуса четырех разбойников, могучее противоядие современной заразе. Много раз вновь появляется этот интерес к благоуханиям, как тонкое облачко окружающим существа и предметы. У очень немногих поэтов найдем мы эту заботливость; они обычно довольствуются введением в свои стихи света, красок, музыки; но редко случается, чтобы они влили в них эту каплю тонкой эссенции, которой муза Бодлера никогда не упускает случая смочить губку своего флакона или батист платка.

Так как мы заговорили об исключительных вкусах и маленьких маниях поэта, то скажем, что он обожал кошек, подобно ему влюбленных в ароматы и приводимых запахом валерьяны в какую-то экстатическую эпилепсию. Он любил этих очаровательных животных, покойных, таинственных, мягких и кротких, с их электрическими вздрагиваниями, с их любимой позой сфинксов, которые, кажется, передали им свои тайны; они бродят по дому бархатными шагами, как genii loci (гении места), или приходят, садятся на стол около писателя, думают вместе с ним и смотрят на него из глубины своих зрачков с золотистыми крапинками с какой-то разумной нежностью и таинственной проницательностью. Они как бы угадывают мысль, спускающуюся из мозга на кончик пера и, протягивая лапку, хотят поймать ее на лету. Они любят тишину, порядок и спокойствие, и самое удобное место для них — кабинет писателя. Они с удивительным терпением ждут, чтобы он окончил свою работу, и все время испускают гортанное и ритмичное мурлыканье, точно аккомпанемент его работы. Иногда они приглаживают языком какое-нибудь взъерошенное местечко своего меха, потому что они опрятны, чистоплотны, кокетливы и не терпят никакого беспорядка в своем туалете, но все это они делают так скромно и спокойно, как будто опасаются развлечь его или помешать ему.

Ласки их нежны, деликатны, молчаливы, женственныи не имеют ничего общего с шумной и грубой резкостью, свойственной собакам, которым между тем выпала на долю вся симпатия толпы.

Все эти достоинства были оценены Бодлером, который не раз обращался к кошкам с прекрасными стихами — в «Цветах зла» их три, — где он воспевает их физические и моральные качества; и он часто их выводит в своих сочинениях как характерную подробность. Кошки изобилуют в стихах Бодлера, как собаки на картинах Паоло Веронезе, — и служат как бы его подписью. Надо также сказать, что у этих красивых животных, благоразумных днем, есть другая сторона — ночная, таинственная, кабалистическая, которая очень пленяла поэта. Кошка, со своими фосфорическими глазами, заменяющими ей фонари, с искрами, сверкающими из ее спины, без страха бродит в темноте, где встречает блуждающие призраки, колдуний, алхимиков, некромантов, вызывателей теней, любовников, мошенников, убийц, серые патрули и все эти темные лары, которые выходят и работают только по ночам. По ее виду кажется, что она знает самые последние новости шабаша и охотно трется о хромую ногу Мефистофеля. Ее серенады под балконом других кошек, ее любовные похождения по крышам, сопровождаемые криками, подобными крикам ребенка, которого душат, придают ей достаточно сатанинский вид, оправдывающий до известной степени отвращение дневных и практических умов, для которых тайны Эреба не имеют никакой привлекательности.

Но какой-нибудь доктор Фауст, в своей келье, заваленной старыми книгами и алхимическими инструментами, всегда предпочтет иметь товарищем кошку. Сам Бодлер был похож на кошку — чувственный, ласковый, с мягкими приемами, с таинственной походкой, полный силы при нежной гибкости, устремляющий на человека и на вещи взгляд, беспокойно светящийся, свободный, властный, который трудно было выдержать, но который без предательства, с верностью привязывался к тем, на кого хоть раз устремила его ' независимая симпатия.

Разные женские образы являются на фоне стихов Бодлера: одни, скрытые под покровами, другие полуобнаженные, но так, что им нельзя придать никакого имени. Это скорее типы, чем личности.Они представляют вечно-женственноеначало, и любовь, которую выражает к ним поэт, есть любовь вообще,а не какая-нибудь одна любовь: мы видели, что в теории он не допускал индивидуальной страсти, находя ее слишком грубой, слишком фамильярной, слишком резкой. Одни из этих женщин символизируют бессознательную и почти животную проституцию, с их лицами, наштукатуренными румянами и свинцовыми белилами, с подрисованными глазами, накрашенными губами, подобными кровавым ранам, с шапками фальшивых волос и украшениями с сухим и жестким блеском; другие — более холодной, более опытной и более порочной развращенности, своего рода маркизы де Мертей XIX века, перемещают порок с тела в душу. Они высокомерны, холодны как лед, печальны, находят удовольствие только в удовлетворении злобности, неутомимы, как бесплодие, мрачны, как скука, полны истеричных и безумных фантазий и лишены, подобно Демону, способности любить.

Одаренные ужасающей красотой привидений, которую не оживляет пурпур жизни, они идут к своей цели бледные, бесчувственные, великолепно пресыщенные, по сердцам, которые они давят своими острыми каблучками. От этой-то любви, похожей на ненависть, от этих удовольствий, более гибельных, чем сражения, поэт обращается к тому смуглому идолу с экзотическим благоуханием, в дико-причудливом уборе, гибкому и ласковому, как черная яванская пантера, который его успокаивает и вознаграждает за всех этих злых парижских кошек с острыми когтями, играющих с сердцем поэта, как с мышью. Но ни одному из этих созданий — гипсовому, мраморному или из черного дерева — не отдает он своей души. Над этой черной кучей зачумленных домов, над этим зараженным лабиринтом, где кружатся призраки удовольствия, над этим отвратительным кипением нищеты безобразия и пороков, далеко, очень далеко, в неизменной лазури плавает обожаемый призрак Беатриче, его Идеал; всегда желанный, никогда не достижимый, высшая и божественная красота, воплощенная в форме женщины эфирной, одухотворенной, сотканной из света, пламени, благоухания, — пар, мечта, отблеск благоуханного и серафического мира, подобно Лигейе, Морелле, Уне, Элеоноре Эдгара По, Серафите-Серафиту Бальзака, этому удивительному созданию. Из глубины своих падений, заблуждений и отчаяний к этому небесному образу, как к Мадонне,протягивает он руки с криком, слезами и с глубоким отвращением к самому себе. В часы любовной грусти с ней хотелось ему бежать навсегда и сокрыть свое полное блаженство в каком-нибудь таинственно-сказочном убежище или в идеально комфортабельном коттедже Гейнсборо, жилище Жерара Доу, или, еще лучше, в кружевном мраморном дворце Бенареса или Хайдерабада.

Никогда он не увидит иной подруги в своих мечтах. Следует ли видеть в этой Беатриче, в этой Лауре, не означаемой никаким именем, какую-нибудь девушку или молодую женщину, действительно существовавшую, страстно и религиозно любимую поэтом во время его пребывания в этом мире? Было бы романтично предполагать это, и нам не было дано достаточно глубоко проникнуть в интимную жизнь его сердца, чтобы ответить утвердительно или отрицательно на этот вопрос. В своем совершенно метафизическом разговоре Бодлер много говорил о своих мыслях, очень мало — о чувствах и никогда — о поступках. Что касается Главы о любви— он наложил в виде печати на свои тонкие и презрительные губы камею с лицом Гарпократа. Всего вернее было видеть в этой идеальной любви только потребность души, порыв неугомонного сердца и вечную тоску несовершенного, стремящегося к безусловному.

В конце «Цветов зла» находится ряд стихов о Винеи разных видах опьянения, которое оно производит, смотря по тому, на чей мозг оно действует. Нечего и говорить, что здесь нет речи о вакхических песнях, прославляющих виноградный сок, и ни о чем подобном. Это — отвратительное и ужасное описание пьянства, но без нравоучений во вкусе Хогарта.

Картина не нуждается в легенде, и «Вино убийцы» заставляет содрогаться. «Литания Сатане», богу зла и князю мира — одна из тех холодных насмешек, свойственных автору, в которых напрасно было бы видеть кощунство. Кощунство не в природе Бодлера, верящего в высшую математику, установленную Богом от вечности, малейшее нарушение которой наказывается самыми жестокими карами не только в нашем, но и в ином мире. Если он изобразил порок и показал Сатану во всем его торжестве, то наверно без всякого снисхождения. Он даже преимущественно занимается Дьяволом, как искусителем, когти которого повсюду, как будто бы недостаточно прирожденной человеку порочности, чтобы толкнуть его на грех, на подлость, на преступление. У Бодлера грех всегда сопровождается укорами совести,пыткой, отвращением, отчаянием и наказывается сам собой, что и бывает худшей казнью. Но об этом довольно: мы пишем критический, а не теологический этюд.

Отметим среди стихов, составляющих «Цветы зла», некоторые из самых замечательных, и между ними — «Дон Жуан в аду». Эта картина, полная трагического величия, нарисована немногими мастерскими мазками на мрачном пламени адских сводов.

Похоронный челн скользит по черной воде, увозя Дон Жуана и кортеж его жертв. Нищий, которого он хотел заставить отречься от Бога, этот босяк-атлет, гордый и под своими лохмотьями, подобно Антисфену, гребет вместо старого Харона. На корме каменный человек, бесцветный призрак, неподвижным жестом статуи держит руль. Старый Дон Луис указывает на свои седины, осмеянные его предательски-кощунственным сыном. Сганарель просит у своего господина, отныне не могущего платить, свое жалованье. Дона Эльвира старается вызвать прежнюю улыбку любовника на устах презрительного супруга, а бледные возлюбленные, измученные, покинутые, преданные, попираемые ногами, как вчерашние цветы, открывают ему вечно обливающиеся кровью раны своего сердца. В этом концерте слез, стенаний и проклятий Дон Жуан остается бесчувственным; он сделал что хотел; пусть небо, ад и земля судят его как хотят, его гордость не знает раскаяния;гром может его убить, но не заставит его раскаяться.

Своей ясной грустью, своим светлым спокойствием и своим восточным кейфом стихи, озаглавленные «Прежняя жизнь», представляют собой счастливую противоположность мрачным картинам чудовищного современного Парижа и показывают, что у поэта на палитре рядом с тушью, смолой, мумией и другими мрачными красками имеется целая гамма оттенков свежих, легких, прозрачных, нежно-розовых, идеально-голубых, как дали Брейгеля Райского, способных передать елисейские пейзажи и миражи мечты.

Следует упомянуть, как об особенности поэта, о чувстве искусственного.Под этим словом надо понимать творчество, исходящее всецело от Искусства с полным отсутствием Природы. В статье, написанной еще при жизни Бодлера, мы отметили эту странную склонность, поразительный пример которой мы видим в стихотворении, озаглавленном «Réve parisien». Вот строки, пытающиеся передать этот пышный и черный кошмар, достойный мрачных гравюр Martynn: «Представьте себе сверхъестественный пейзаж или, скорее, перспективу, составленную из металла, мрамора и воды, откуда растительность изгнана, как нечто неправильное. Все строго, все гладко, все светится под небом без солнца, без луны, без звезд. Среди молчания вечности поднимаются освещенные собственным огнем дворцы, колоннады, башни, лестницы, водяные замки, откуда падают, как хрустальные занавеси, тяжелые водопады. Синие воды окружены, как сталь древних зеркал, набережными и бассейнами вороненого золота, где они молчаливо текут под мостами из драгоценных камней. Кристаллизованный луч служит оправой жидкостей, и порфировые плиты террас, как зеркала, отражают предметы.

Царица Савская, проходя там, подняла бы свое платье, опасаясь намочить ноги, — так блестит их поверхность. Стиль этого стихотворения блещет, как черный полированный мрамор».

Не странная ли фантазия — это сочетание строгих элементов, в котором ничто не живет, не трепещет, не дышит, в котором ни былинка, ни цветок не нарушает неумолимой симметрии искусственных форм, измышленных искусством? Не кажется ли, что находишься в нетронутой Пальмире или Паленке, среди останков мертвой и покинутой атмосферой планеты?

Все это, без сомнения, образы причудливые, противоестественные, близкие к галлюцинации и выдающие тайное желание невозможного новшества; но мы, со своей стороны, предпочитаем их жидкой простоте мнимых поэтических произведений, в которых по канве избитых общих мест вышиваются старой вылинявшей шерстью узоры мещанской тривиальности и глупой сентиментальности: венки из крупных роз, листья зеленые, как капуста, целующиеся голубки. Иногда нам не страшно купить что-нибудь редкое ценой неловкости, фантастики и преувеличения.

Иногда дикое нам нравится больше, чем плоское. Бодлер имеет в наших глазах это преимущество; он может быть дурен, но никогда не может быть пошл. Его недостатки оригинальны, как и его достоинства, и даже там, где он не нравится, он делает это по своей воле, по законам особенной эстетики и в силу продолжительного размышления.

Кончим этот разбор, уже несколько затянувшийся, хотя и очень сокращаемый нами, несколькими словами по поводу стихотворения «Маленькие старушки», которое так поразило Виктора Гюго. Поэт, гуляя по улицам Парижа, видит старушек, бредущих скромной, печальной походкой, и он провожает их, как провожают красивых женщин, узнавая по старому изношенному кашемиру, тысячу раз заштопанному, выцветшему, бедно облекающему их тощие плечи, по кусочку распустившегося и пожелтевшего кружева, по кольцу — воспоминание, с трудом оспариваемое у ссудной кассы и готовое соскочить с исхудалого пальца бледной руки, — счастливое и изящное прошлое, жизнь, полную любви и преданности, может быть, следы былой красоты, еще ощутимой под развалинами убожества и опустошениями возраста. Он оживляет все эти дрожащие тени, он выпрямляет их, вновь облекает юношеским телом эти худые скелеты и воскрешает в этих бедных увядших сердцах прежние обольщения. Ничего не может быть смешнее этих Венер с кладбища Пер-Лашез и этих Нинон из «Пти Менаж», проходящих с жалким видом перед взорами вызвавшего их поэта, подобно процессиям теней, застигнутых светом.

Вопросы метрики, которыми пренебрегают все, кто лишен чувства формы, а таких очень много в наше время, по справедливости считались Бодлером очень важными. Теперь нет ничего обычнее, чем принимать поэтическое за поэзию.Эти вещи не имеют ничего общего. Фенелон, Ж. Ж. Руссо, Бернарден де Сен-Пьер, Шатобриан, Ж. Санд — поэтичны, но не поэты, т. е. они не имеют дара писать даже посредственные стихи, они лишены специального дарования, которым владеют люди менее даровитые, чем эти знаменитые писатели. Желание отделить стих от поэзии — современное безумие, которое ведет не к чему иному, как к уничтожению самого искусства. В превосходной статье Сент-Бёва о Тэне по поводу Попа и Буало, к которым автор «Истории английской литературы» относится презрительно, мы встречаем следующее место, очень сильное и справедливое, где вещам придано более правильное освещение, чем великим критиком, который в начале своей деятельности был великим поэтом и остался им навсегда. «Что касается Буало, то могу ли я принять странное суждение одного умного человека, презрительное мнение, которое Тэн, цитируя его, высказывает за свой счет, не боясь ответственности: „У Буало есть два сорта стихов: наиболее многочисленные кажутся стихами хорошего ученика III класса; менее многочисленные кажутся стихами хорошего ученика класса риторики". Умный человек, говорящий таким образом (Ф. Гильом Гизо), не чувствует поэта в Буало; я иду далее: не должно никогда чувствовать поэта в поэте. Я понимаю, что нельзя всю поэзию сводить к простому ремеслу, но я не понимаю совершенно, каким образом, раз речь идет об искусстве, не придают никакого значения самому искусству и до такой степени обесценивают работников, достигших в нем совершенства. Уничтожьте разом всю поэзию в стихах, это будет более решительно; если вы этого не делаете, то отзывайтесь с уважением о тех, кто владел ее тайнами.Буало принадлежал к этим немногим Поп — равным образом».

Невозможно сказать ни лучше, ни справедливее! Когда говорят о поэте, то внешняя форма его стихов — вещь важная и стоит изучения, ибо она составляет значительную часть их внутренней ценности. Это — та проба, которую он вычеканивает на своем золоте, серебре и меди. Стих Бодлера, принимая все важнейшие усовершенствования романтизма, каковы: богатая рифма, произвольная подвижность цезуры, rejet, enjambement, употребление технических терминов, строгий и полный ритм, непрерывный поток великого александрийского стиха, весь мудрый механизм просодии и строения станса и строфы — имеет тем не менее свою особенную архитектонику, свои индивидуальные формулы, структуру, по которой его можно узнать, свои тайны ремесла, свою печать, так сказать, и свою собственную марку «СВ» (Charle Baudelaire), которая всегда приложена к рифме или полустишию.

Бодлер часто употребляет 12- и 8-сложный стих. Это — та форма, в которую по преимуществу выливается его мысль. Стихотворения со сплошной рифмой у него менее многочисленны, чем разделенные на четырехстишия или стансы. Он любит гармоничное перекрещивание рифм, отдаляющее эхо у взятой ноты и дающее уху непредвиденный звук, который дополнится позднее, как и нота первого стиха, доставляя удовлетворение, которое в музыке достигается совершенным аккордом. Он всегда заботился, чтобы конечная рифма была полна, звучна и поддерживалась согласной, что создает вибрацию, удлиняющую последнюю ноту.

Среди его стихотворений встречается много таких, которые содержат внешнюю схему — как бы внешний рисунок — сонета, хотя он ни одного из них не назвал сонетом.Это, без сомнения, происходит от литературной щепетильности и от просодической совестливости; зарождение ее, как мне кажется, можно видеть в том примечании, где он рассказывает о своем посещении меня и о нашем разговоре. Читатель, вероятно, помнит, что Бодлер принес мне томик стихов двух отсутствующих друзей от их имени. В его рассказе мы находим следующие строки: «Быстро перелистав этот томик, он обратил внимание на то, что упомянутые поэты слишком часто позволяют себе вольныесонеты, т. е. не по правилам, охотно освобождая себя от закона четверной рифмы». В это время была уже составлена большая часть «Цветов зла», и в ней встречалось довольно много вольныхсонетов, не только не имевших четверной рифмы, но даже таких, в которых рифмы переплетались совершенно неправильно: в ортодоксальном сонете, каковы сонеты Петрарки, Феликайи, Ронсара, Дю Белле, Сент-Бёва, среди четверостишия должны заключаться две однообразные рифмы — мужские или женские по выбору автора, — что и отличает четверостишие сонета от обычного четверостишия и определяет, смотря по тому, дает ли внешняя рифма немое еили полный звук, ход и расположение рифмы в двух трехстишиях, заканчивающих сонет, менее трудный, чем думает Буало, и именно потому, что тут имеется геометрически-определенная форма; не так ли на лепных потолках многоугольники и причудливо очерченные части скорее облегчают, чем затрудняют живописца, определяя пространство, в которое должно заключить фигуры. Нередко случается, что благодаря ракурсу и искусному сведению линии удается поместить гиганта в одно из узких отделений лепного потолка, и произведение выигрывает от подобной концентрации. Таким образом великая идея может свободно двигаться в этих четырнадцати стихах, методически-распределенных.

Молодая школа допускает множество вольных сонетов, и я должен сознаться, что это мне особенно неприятно. Зачем, если вы желаете быть свободным и по своему вкусу распределять рифмы, — зачем выбирать строгую форму, не допускающую никакого отступления, никакого каприза? Неправильность в правильном, недостаток соответствия в симметрическом — что же может быть нелепее и противоречивее? Всякое нарушение правила беспокоит нас, как сомнительная или фальшивая нота. Сонет — поэтическая фуга, тему которой надо переделывать, пока не получится должная форма. Следует безусловно подчиняться его законам или же, находя эти законы устаревшими, педантичными и стеснительными, совсем не писать сонетов.

Итальянцы и поэты плеяды могут в этом случае служить образцами; не бесполезно было бы прочесть книгу, в которой Уильям Коллег трактует о сонете ex professo [1]. Можно сказать, что он исчерпал этот предмет. Но достаточно о вольных сонетах, которые пустил в ход первый Мейнар. Что касается других [2]сонетов, то это — только педантические упражнения, образчики которых можно видеть в Rabanus Maurus, в испанском и итальянском «Аполлоне» и в специальном трактате, написанном об этом предмете Антонио Темпо, и которых надо избегать, как трудностей совершенно ненужных, как китайской головоломки в поэзии.

Бодлер часто стремится к музыкальному эффекту при помощи одного или нескольких стихов особенно мелодичных, составляющих ритурнель и поочередно вновь появляющихся, как в итальянской строфе, называемой секстиной, удачные примеры которой дает в своих многочисленных стихах граф де Грамон. Он пользуется этой формой, смутно убаюкивающей, как волшебный напев, едва уловимый в полусне, для того чтобы передать грустные воспоминания и несчастную любовь. Стансы, звучащие однообразно, относят и опять приносят мысль, покачивая ее, подобно тому, как волны своими мерными завитками катят тонущий цветок, упавший с берега. Подобно Лонгфелло и Эдгару По, он употребляет часто аллитерацию, т. е. определенное повторение какой-нибудь согласной, для того чтобы произвести впечатление гармонии всем строением стиха. Сент-Бёв, которому известны все эти тонкости и который применяет их в своем изысканном искусстве, сказал когда-то в сонете мягкой, чисто итальянской нежности:

//Sorrente m'a rendu mon doux rêve infini.

Чуткое ухо понимает прелесть этой плавной грезы, повторенной четыре раза и как бы уносящей вас на своей волне в беспредельность, подобно тому, как перо чайки несется синей волной Неаполитанского залива.

Частые аллитерации встречаются и в прозе Бомарше, и скальды часто прибегали к ним. Эти тонкости, без сомнения, покажутся ничтожными утилитаристам, прогрессистам и практикам или просто рассудительным людям, которые думают, подобно Стендалю, что стих — ребяческая форма, годная для первобытных веков, и требуют, чтобы поэтические произведения писались прозой, как то приличествует рассудительной эпохе. Но эти подробности делают стихи хорошими или плохими и решают вопрос: поэт ли их автор или нет.

Многосложные, длинные слова очень нравятся Бодлеру, и из трех или четырех таких слов он часто составляет стихи, которые кажутся безмерными и вибрирующий звук которых замедляет ритм. Для поэта слова сами по себе помимо того смысла, который они выражают, обладают особенной, им лишь свойственной красотой и ценностью, как драгоценные камни, еще не отшлифованные и не оправленные в браслеты, ожерелья или кольца; они восхищают знатока, который их рассматривает и разбирает в маленьком сосуде, где они убраны, как это делает ювелир, оценивающий драгоценности. Есть и среди слов алмазы, сапфиры, рубины, изумруды и другие, светящиеся, как фосфор от трения, и немалого труда стоит их выбрать.

Эти великие александрийские стихи, о которых мы говорили выше, умирающие на морском берегу спокойной и глубокой зыбью волны, прибывшей из открытого моря, разбиваются иногда бешеной пеной и высоко взметают свой белый дым на какой-нибудь дикий и угрюмый утес, чтобы опять рассыпаться затем горьким дождем. Стихи восьмисложные резки, сильны, отрывисты, как удары плеткой, они жестоко хлещут злую совесть и лицемерную условность.

Они годятся также и для передачи мрачных причуд; автор заключает в этот размер, как в рамку черного дерева, ночные виды кладбища, где во мраке сверкают видящие во тьме зрачки сов, а за зеленовато-бронзовой сетью тисовых дерев скользят привидения, воры, опустошители могил и похитители трупов. Восьмисложными стихами он описывает также зловещие небеса, по которым катится над виселицами луна, больная от заклинаний Канидий; он описывает холодную скуку умершей, для которой ложе разврата заменил гроб и которая грезит в своем уединении, покинутая даже червями, содрогаясь от капель ледяного дождя, просачивающегося сквозь доски ее гроба, или показывает нам в многозначительном беспорядке увядшие букеты, старые письма, ленты и миниатюры рядом с пистолетами, кинжалами и флаконами лауданума, комнату жалкого влюбленного, которого во время его прогулок с презрением посещает насмешливый призрак самоубийства, потому что даже сама смерть не может его исцелить от его низкой страсти.

От формы стихов перейдем к канве стиля. Бодлер переплетает шелковые и золотые нити с жесткими и крепкими нитями пеньки, как в тех восточных тканях, в одно и то же время пышных и грубых, в которых самые нежные украшения с чарующей причудливостью разбегаются по грубой верблюжьей шерсти или по полотну, столь же жесткому на ощупь, как паруса барки. Самая кокетливая, даже самая драгоценная изысканность сталкивается с дикой похотью; и из полного опьяняющих ароматов и сладостно-томительных бесед будуара мы попадаем в грязный кабак, где пьяницы, мешая кровь с вином, ударами ножа оспаривают друг у друга какую-нибудь уличную Елену.

«Цветы зла» — лучший цветок в поэтическом венке Бодлера. В них прозвучала его оригинальная нота, и он доказал, что можно и после неисчислимого количества стихотворных томов, которые, кажется, исчерпывают самые разнообразные темы, выдвинуть на свет нечто новое и неожиданное, и для этого нет надобности отцеплять с неба солнце и звезды или развертывать всемирную историю, как на какой-нибудь немецкой фреске.

<…>

Кроме «Цветов зла», переводов из Эдгара По, «Искусственного рая», «Салонов» и критических статей, Шарль Бодлер оставил целую книгу маленьких поэм в прозе, помещавшихся в разное время в газетах и журналах, которым скоро наскучивали эти тончайшие шедевры, не интересовавшие вульгарного читателя; это принудило поэта, благородная настойчивость которого не шла ни на какую сделку, вверить следующую серию их форме, более рискованной, но зато и более литературной. В первый раз эти вещи, разбросанные повсюду и почти безнадежно растерянные, были собраны в один том, который будет не последней заслугой поэта перед потомством.

В коротком предисловии, обращенном к А. Уссе, Бодлер говорит о том, как ему пришла мысль прибегнуть к этой форме, представляющей собой нечто среднее между стихами и прозой.

«Я хочу вам сделать маленькое признание. Перелистывая, по крайней мере, в двадцатый раз знаменитый цикл «Ночной Гаспар» Алоизия Бертрана (книга, известная вам, мне и некоторым из моих друзей, не имеет ли полного права быть названа знаменитой?), я задумал сделать попытку в подобном же роде и приложить к описанию современной жизни, или, если хотите, данной, современной и отвлеченной жизни способ, который он применил к изображению жизни древней, столь необычно красочной.

Кто из нас не мечтал в приливе честолюбия о чудесах поэтической прозы, музыкальной без ритма и рифмы, достаточно гибкой и цепкой, чтобы приспособиться к изображению лирических движений души к переливам грез, к скачкам сознания?» Нечего говорить, что «Маленькие поэмы в прозе» совершенно не похожи на «Ночной Гаспар». Сам Бодлер заметил это тотчас же, как начал свою работу и отметил этот случай,которым всякий другой, может быть, возгордился бы, но который мог только глубоко огорчить ум, считавший высшей честью поэта выполнение именно того, что было предположено. Очевидно, Бодлер всегда желал волей направлять вдохновение и ввести в искусство нечто вроде непогрешимой математики. Он порицал себя за то, что произвел иное, чем предполагал, хотя бы это и было, как в данном случае, оригинальное и сильное произведение.

Наш поэтический язык, надо в этом признаться, несмотря на энергичные усилия новой школы сделать его более гибким и пластичным, совсем не годится для описания редких и случайных деталей, особенно когда речь идет о предметах современной жизни, как простой, так и пышной. Не' боясь, как прежде, называть вещь ее собственным именем и не любя перифраз, французский стих отказывается, по самому своему строению, от выражения значительных особенностей, а если и пытается ввести их в свои узкие рамки, то скоро становится жестким, шероховатым и тяжелым. «Маленькие поэмы в прозе» очень кстати возместили этот пробел и при этом в такой форме, которая удовлетворяет условиям самого утонченного искусства и при которой каждое слово должно быть раньше взвешено на весах, более чувствительных, чем весы «Весовщика золота» Квинтена Мессейса, потому что оно должно иметь цену, вес и звук. Бодлер обнаружил целую новую сторону своего таланта — драгоценную, тонкую и причудливую. Он схватил и уловил нечто не поддающееся выражению, передал беглые оттенки, занимающие среднее место между звуком и цветом, мысли, похожие на мотивы арабесок или на темы музыкальных фраз. Не только физическая природа, но и самые тайные движения души, капризная меланхолия, галлюцинирующий сплин, полный неврозов, — прекрасно переданы этой формой. Автор «Цветов зла» извлек из нее поразительные эффекты, и иногда удивляешься, каким путем язык достигает той резкой ясности солнечного луча, который в голубой дали выделяет башни, развалины, группу деревьев, вершину горы, благодаря чему получают изображение предметы, отказывающиеся от всякого описания и до сих пор не разрешавшиеся словами. Едва ли не большая слава Бодлера в том, что он дал возможность ввести в речь целый ряд предметов, ощущений и эффектов, которым не дал названия Адам, великий номенклатор. Ни один писатель не может претендовать на большую честь, чем такое признание, а между тем тот, кто написал «Маленькие поэмы в прозе», бесспорно заслужил его.

Трудно, не располагая большим количеством места (а тогда лучше отослать читателя к самим произведениям), дать верное понятие об этих произведениях: картины, медальоны, барельефы, статуэтки, эмали, пастели, камеи следуют друг за другом, подобно позвонкам в хребте змеи; можно вынуть несколько звеньев, и куски опять соединяются и живут, так как все они имеют свою собственную душу и все одинаково судорожно тянутся к недостижимому идеалу.

Прежде чем закончить, как можно скорее, эту заметку, уже слишком разросшуюся, так как иначе мы не оставили бы места в этом томе поэту и другу, талант которого мы разбираем, и комментарии заглушили бы самое произведение, — надо ограничиться перечислением заглавий некоторых из «Маленьких поэм в прозе», превосходящих, по моему мнению, своей напряженностью, сосредоточенностью, глубиной и прелестью коротенькие фантазии «Ночного Гаспара», которыми Бодлер предполагал воспользоваться как образцами.

Из 50 стихотворений, составляющих сборник и совершенно различных по тону и форме, я отмечу: «Пирог», «Двойная комната», «Толпа», «Вдовы», «Старый паяц», «Полмира в волосах», «Приглашение к путешествию», «Прекрасная Доротея», «Геройская смерть», «Тирс», «Портреты любовниц», «Желание писать», «Породистая лошадь» и, особенно, «Дары луны», очаровательное произведение, в котором поэт с волшебной иллюзией изображает то, что совсем не удалось живописцу Милле в его «Бдении Св. Агнесы» — проникновение в комнату ночного светила с его фосфорическим голубоватым светом, с его радужным, сероватым перламутром, с его пронизанным лучами сумраком, в котором, как мотыльки, трепещут осколки серебра. С высоты своей облачной лестницы луна склоняется над колыбелью заснувшего ребенка, обливая его своим полным таинственной жизни светом и своим светящимся ядом; эту бледную головку она, как фея, осыпает своими странными дарами и шепчет ей на ухо: «Ты вечно останешься под влиянием моего поцелуя. Ты будешь прекрасна, как я. Ты будешь любить то, что меня любит и что я люблю: воду, облака, молчание, ночь, безграничное и зеленое море; воду, бесформенную и многообразную, страны, где ты не будешь, возлюбленного, которого ты не узнаешь, чудовищные цветы, потрясающие волю ароматы, кошек, замирающих на пианино и стонущих, как женщины, хриплым голосом».

Мы не знаем ничего равного этому восхитительному отрывку, кроме стихов Li-tai-pè,так хорошо переведенных Джудит Вальтер, в которых китайская императрица влачит складки своего белого атласного платья по малахитовой лестнице, осыпанной алмазными лучами луны. Только лунатик мог так понимать луну и ее таинственное очарование.

Слушая музыку Вебера, сначала испытываешь ощущение магнетического сна, что-то вроде успокоения, незаметно уносящего из действительной жизни; затем вдали вдруг зазвучит странная нота, заставляющая с беспокойством насторожиться. Эта нота подобна вздоху из волшебного мира, голосу невидимо зовущих духов. Оберон начинает трубить в свой рог, и открывается волшебный лес, уходящий в бесконечность голубоватыми аллеями, населенный всеми фантастическими существами, описанными Шекспиром в его «Сне в летнюю ночь», — и сама Титанияпоявляется в прозрачном платье из серебряного газа.

Чтение «Маленьких поэм в прозе» часто производило на меня подобное же впечатление: одна фраза, одно-единственное слово, капризно выбранное и помещенное, вызывало целый неведомый мир забытых, но милых образов, оживляло воспоминания прежнего далекого существования и заставляло предчувствовать вокруг таинственный хор угасших идей, шепчущих вполголоса среди призраков беспрестанно отделяющихся от мира вещей. Другие фразы, болезненно-нежные, подобно музыке, шепчут утешения в невысказанных горестях и неизлечимом отчаянии; но надо быть осторожным: они могут вызвать в вас тоску по родине подобно тому, как пастуший рожок заставил бедного швейцарского ландскнехта из немецкого отряда в гарнизоне Страсбурга переплыть Рейн; он был пойман и расстрелян «за то, что слишком заслушался альпийского рожка».

20 февраля 1868 г.Теофиль Готье

**ЦВЕТЫ ЗЛА** [3]

*Непогрешимому поэту,*

*Всесильному чародею французской литературы,*

*Моему дорогому и уважаемому учителю и другу*

*ТЕОФИЛЮ ГОТЬЕ*

Как выражение полного преклонения

Посвящаю эти БОЛЕЗНЕННЫЕ ЦВЕТЫ.

Ш.Б.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Безумье, скаредность, и алчность, и разврат

И душу нам гнетут, и тело разъедают;

Нас угрызения, как пытка, услаждают,

Как насекомые, и жалят и язвят.

Упорен в нас порок, раскаянье — притворно;

За все сторицею себе воздать спеша,

Опять путем греха, смеясь, скользит душа,

Слезами трусости омыв свой путь позорный.

И Демон Трисмегист [4], баюкая мечту,

На мягком ложе зла наш разум усыпляет;

Он волю, золото души, испепеляет,

И, как столбы паров, бросает в пустоту;

Сам Дьявол нас влечет сетями преступленья

И, смело шествуя среди зловонной тьмы,

Мы к Аду близимся, но даже в бездне мы

Без дрожи ужаса хватаем наслажденья;

Как грудь, поблекшую от грязных ласк, грызет

В вертепе нищенском иной гуляка праздный,

Мы новых сладостей и новой тайны грязной

Ища, сжимаем плоть, как перезрелый плод;

У нас в мозгу кишит рой демонов безумный,

Как бесконечный клуб змеящихся червей;

Вдохнет ли воздух грудь — уж Смерть клокочет в ней,

Вливаясь в легкие струей незримо-шумной.

До сей поры кинжал, огонь и горький яд

Еще не вывели багрового узора;

Как по канве, по дням бессилья и позора,

Наш дух растлением до сей поры объят!

Средь чудищ лающих, рыкающих, свистящих,

Средь обезьян, пантер, голодных псов и змей,

Средь хищных коршунов, в зверинце всех страстей,

Одно ужасней всех: в нем жестов нет грозящих,

Нет криков яростных, но странно слиты в нем

Все исступления, безумства, искушенья;

Оно весь мир отдаст; смеясь, на разрушенье,

Оно поглотит мир одним своим зевком!

То — Скука! — Облаком своей houka [5]одета,

Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.

Скажи, читатель лжец, мой брат и мой двойник,

Ты знал чудовище утонченное это?!le français

СПЛИН И ИДЕАЛ

I

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Лишь в мир тоскующий верховных сил веленьем

Явился вдруг поэт — не в силах слез унять,

С безумным ужасом, с мольбой, с богохуленьем

Простерла длани в высь его родная мать!

«Родила б лучше я гнездо ехидн [6]презренных,

Чем это чудище смешное… С этих пор

Я проклинаю ночь, в огне страстей мгновенных

Во мне зачавшую возмездье за позор!

Лишь мне меж женами печаль и отвращенье

В того, кого люблю, дано судьбой вдохнуть;

О, почему в огонь не смею я швырнуть,

Как страстное письмо, свое же порожденье!

Но я отмщу за все: проклятия небес

Я обращу на их орудие слепое;

Я искалечу ствол, чтобы на нем исчез

Бесследно мерзкий плод, источенный чумою!»

И не поняв того, что Высший Рок судил,

И пену ярости глотая в исступленье,

Мать обрекла себя на вечное сожженье —

Ей материнский грех костер соорудил!

А между тем дитя, резвяся, расцветает;

То — Ангел осенил дитя своим крылом:

Малютка нектар пьет, амброзию вкушает

И дышит солнечным живительным лучом;

Играет с ветерком, и с тучкой речь заводит,

И с песней по пути погибели идет,

И Ангел крестный путь за ним вослед проходит,

И, щебетание услыша, слезы льет.

Дитя! Повсюду ждет тебя одно страданье;

Все изменяет вкруг, все гибнет без следа,

И каждый, злобствуя на кроткое созданье,

Пытает детский ум и сердце без стыда!

В твое вино и хлеб они золу мешают

И бешеной слюной твои уста язвят;

Они всего тебя с насмешкою лишают

И даже самый след обходят и клеймят!

Смотри, и даже та, кого ты звал своею,

Средь уличной толпы кричит, над всем глумясь:

«Он пал передо мной, восторгом пламенея;

Над ним, как древний бог, я гордо вознеслась!

Окутана волной божественных курений,

Я вознеслась над ним, в мольбе склоненным ниц;

Я жажду от него коленопреклонений

И требую, смеясь, я жертвенных кошниц [7].

Когда ж прискучат мне безбожные забавы,

Я возложу, смеясь, к нему, на эту грудь

Длань страшной гарпии [8]: когтистый и кровавый

До сердца самого она проточит путь.

И сердце, полное последних трепетаний,

Как из гнезда — птенца, из груди вырву я,

И брошу прочь, смеясь, чтоб после истязаний

С ним поиграть могла и кошечка моя!»

Тогда в простор небес он длани простирает —

Туда, где Вечный Трон торжественно горит;

Он полчища врагов безумных презирает,

Лучами чистыми и яркими залит:

— «Благословен Господь, даруя нам страданья,

Что грешный дух влекут божественной стезей;

Восторг вкушаю я из чаши испытанья,

Как чистый ток вина для тех, кто тверд душой!

Я ведаю, в стране священных легионов,

В селеньях Праведных, где воздыханий нет,

На вечном празднике Небесных Сил и Тронов [9],

Среди ликующих воссядет и поэт!

Страданье — путь один в обитель славы вечной,

Туда, где адских ков, земных скорбей конец;

Из всех веков и царств Вселенной бесконечной

Я для себя сплету мистический венец [10]!

Пред тем венцом — ничто и блеск камней Пальмиры [11],

И блеск еще никем не виданных камней,

Пред тем венцом — ничто и перлы, и сапфиры,

Творец, твоей рукой встревоженных морей.

И будет он сплетен из чистого сиянья

Святого очага, горящего в веках,

И смертных всех очей неверное мерцанье

Померкнет перед ним, как отблеск в зеркалах!»le français

II

АЛЬБАТРОС

Чтоб позабавиться в скитаниях унылых,

Скользя над безднами морей, где горечь слез,

Матросы ловят птиц морских ширококрылых,

Их вечных спутников, чье имя альбатрос.

Тогда, на палубе распластанный позорно,

Лазури гордый царь два белые крыла

Влачит беспомощно, неловко и покорно,

Как будто на мели огромных два весла.

Как жалок ты теперь, о странник окрыленный!

Прекрасный — миг назад, ты гадок и смешон!

Тот сует свой чубук в твой клюв окровавленный;

Другой смешит толпу: как ты, хромает он.

Поэт, вот образ твой!.. ты — царь за облаками;

Смеясь над радугой, ты буре вызов шлешь! —

Простертый на земле, освистанный шутами,

Ты исполинских крыл своих не развернешь!le français

III

ПОЛЕТ

Высо́ко над водой, высо́ко над лугами,

Горами, тучами и волнами морей,

Над горней сферой звезд и солнечных лучей

Мой дух, эфирных волн не скован берегами, —

Как обмирающий на гребнях волн пловец,

Мой дух возносится к мирам необозримым;

Восторгом схваченный ничем не выразимым,

Безбрежность бороздит он из конца в конец!

Покинь земной туман нечистый, ядовитый;

Эфиром горних стран очищен и согрет,

Как нектар огненный, впивай небесный свет,

В пространствах без конца таинственно разлитый.

Отягощенную туманом бытия,

Страну уныния и скорби необъятной

Покинь, чтоб взмахом крыл умчаться безвозвратно

В поля блаженные, в небесные края!..

Блажен лишь тот, чья мысль, окрылена зарею,

Свободной птицею стремится в небеса, —

Кто внял цветов и трав немые голоса,

Чей дух возносится высоко над землею!le français

IV

СООТВЕТСТВИЯ

Природа — строгий храм, где строй живых колонн

Порой чуть внятный звук украдкою уронит;

Лесами символов бредет, в их чащах тонет

Смущенный человек, их взглядом умилен.

Как эхо отзвуков в один аккорд неясный,

Где все едино, свет и ночи темнота,

Благоухания, и звуки, и цвета

В ней сочетаются в гармонии согласной.

Есть запах девственный; как луг, он чист и свят,

Как тело детское, высокий звук гобоя;

И есть торжественный, развратный аромат —

Слиянье ладана и амбры и бензоя: [12]

В нем бесконечное доступно вдруг для нас,

В нем высших дум восторг и лучших чувств экстаз!le français

V

Я полюбил нагих веков воспоминанья:

Феб [13]золотил тогда улыбкой изваянья;

Тогда любовники, и дерзки и легки,

Вкушали радости без лжи и без тоски;

Влюбленные лучи им согревали спины,

Вдохнув здоровый дух в искусные машины,

И плодоносная Кибела [14]без числа

Своим возлюбленным сынам дары несла;

Волчица с нежностью заботливо-покорной

Пьянила целый мир своею грудью черной;

Прекрасный, дерзостный и мощный человек

Был признанным царем всего, что создал век, —

Царем невинных дев, рожденных для лобзанья,

Плодов нетронутых, не знавших увяданья!..

Поэт! Когда твой взор захочет встретить вновь

Любовь нагой четы, свободную любовь

Первоначальных дней, перед смятенным взором,

Холодным ужасом, чудовищным позором

Пронизывая грудь, возникнет пред тобой

Уродство жалкое, омытое слезой…

О дряблость тощих тел без формы, жизни, красок!

О торсы жалкие, достойные лишь масок!..

Вас с детства Пользы бог, как в латы, заковал

В пеленки медные, — согнул и изломал;

Смотрите: ваших жен, как воск, бледны ланиты;

Все ваши девушки пороками повиты:

Болезни и разврат отцов и матерей

У колыбели ждут невинных дочерей!

Мы, извращенные, мы, поздние народы,

Ждем красоты иной, чем в девственные годы:

Пленяют нас тоской изрытые черты,

Печаль красивая и яд больной мечты.

Но музы поздние народов одряхлелых

Шлют резвой юности привет в напевах смелых:

— О Юность чистая, святая навсегда!

Твой взор прозрачнее, чем светлая вода;

Ты оживляешь все в тревоге беззаботной;

Ты — синий небосвод, хор птичек перелетный;

Ты сочетаешь звук веселых голосов,

И ласки жаркие, и аромат цветов!le français

VI

МАЯКИ

О Рубенс, лени сад, покой реки забвенья!

Ты — изголовие у ложа без страстей,

Но где немолчно жизнь кипит, где все — движенье,

Как в небе ветерок, как море меж морей!

О Винчи, зеркало с неясной глубиною,

Где сонмы ангелов с улыбкой на устах

И тайной на челе витают, где стеною

Воздвиглись горы льдов с лесами на хребтах;

О Рембрандт, грустная, угрюмая больница

С Распятьем посреди, где внятен вздох больных,

Где брезжит зимняя, неверная денница,

Где гимн молитвенный среди проклятий стих!

Андже́ло, странный мир: Христы и Геркулесы [15]

Здесь перемешаны; здесь привидений круг,

Лишь мир окутают вечерней тьмы завесы,

Срывая саваны, к нам тянет кисти рук.

Пюже [16], печальный царь навеки осужденных,

Одевший красотой уродство и позор,

Надменный дух, ланит поблеклость изможденных,

То сладострастный фавн, то яростный боксер;

Ватто! О карнавал, где много знаменитых

Сердец, как бабочки, порхают и горят,

Где блещет шумный вихрь безумий, с люстр излитых,

И где орнаментов расцвел нарядный ряд!

О Гойя, злой кошмар [17], весь полный тайн бездонных,

Проклятых шабашей, зародышей в котлах,

Старух пред зеркалом, малюток обнаженных,

Где даже демонов волнует страсть и страх;

Делакруа, затон кровавый, где витает

Рой падших Ангелов; чтоб вечно зеленеть,

Там лес тенистых пихт чудесно вырастает;

Там, как у Вебера [18], звучит глухая медь;

Все эти жалобы, экстазы, взрывы смеха,

Богохуления, Те Deum [19], реки слез,

То — лабиринтами умноженное эхо,

Блаженный опиум, восторг небесных грез!

То — часового крик, отвсюду повторенный,

Команда рупоров, ответный дружный рев,

Маяк, на тысячах высот воспламененный,

Призыв охотника из глубины лесов!

Творец! вот лучшее от века указанье,

Что в нас святой огонь не может не гореть,

Что наше горькое, безумное рыданье

У брега вечности лишь может замереть!le français

VII

БОЛЬНАЯ МУЗА

О муза бедная! В рассветной, тусклой мгле

В твоих зрачках кишат полночные виденья;

Безгласность ужаса, безумий дуновенья

Свой след означили на мертвенном челе.

Иль розовый лютен [20], суккуб [21]зеленоватый

Излили в грудь твою и страсть и страх из урн?

Иль мощною рукой в таинственный Минтурн [22]

Насильно погрузил твой дух кошмар проклятый?

Пускай же грудь твоя питает мыслей рой,

Здоровья аромат вдыхая в упоенье;

Пусть кровь твоя бежит ритмической струей,

Как метров эллинских стозвучное теченье,

Где царствует то Феб, владыка песнопенья,

То сам великий Пан [23], владыка нив святой.le français

VIII

ПРОДАЖНАЯ МУЗА

О муза нищая, влюбленная в чертоги!

Когда Январь опять освободит Борей [24],

В те черные часы безрадостных ночей

Чем посиневшие свои согреешь ноги?

Ведь мрамор плеч твоих опять не оживет

От света позднего, что бросит ставень тесный;

В твой кошелек пустой и в твой чертог чудесный

Не бросит золота лазурный небосвод!

За хлеб насущный свой ты петь должна — и пойТе Deum;так дитя, не веря в гимн святой,

Поет, на блеск святых кадильниц улыбаясь.

Нет… лучше, как паяц, себя толпе отдай

И смейся, тайными слезами обливаясь,

И печень жирную у черни услаждай.le français

IX

ПЛОХОЙ МОНАХ

На каменных стенах святых монастырей

В картинах Истину монахи раскрывали;

Святые символы любовью согревали

Сердца, остывшие у строгих алтарей.

В наш век забытые, великие аскеты

В века, цветущие посевами Христа,

Сокрыли в склепный мрак священные обеты

И прославляли Смерть их строгие уста!

— Монах отверженный, в своей душе, как в склепе,

От века я один скитаньям обречен,

Встречая пустоту и мрак со всех сторон;

О нерадивый дух! — воспрянь, расторгни цепи,

Презри бессилие, унынье и позор;

Трудись без устали, зажги любовью взор.le français

X

ВРАГ

Моя весна была зловещим ураганом,

Пронзенным кое-где сверкающим лучом;

В саду разрушенном не быть плодам румяным —

В нем льет осенний дождь и не смолкает гром.

Душа исполнена осенних созерцаний;

Лопатой, граблями я, не жалея сил,

Спешу собрать земли размоченные ткани,

Где воды жадные изрыли ряд могил.

О новые цветы, невиданные грезы,

В земле размоченной и рыхлой, как песок,

Вам не дано впитать животворящий сок!

Все внятней Времени смертельные угрозы:

О горе! впившись в грудь, вливая в сердце мрак,

Высасывая кровь, растет и крепнет Враг.le français

XI

НЕУДАЧА

О если б в грудь мою проник,

Сизиф [25], твой дух в работе смелый,

Я б труд свершил рукой умелой!

Искусство — вечность, Время — миг. [26]

К гробам покинутым, печальным,

Гробниц великих бросив стан,

Мой дух, гремя как барабан,

Несется с маршем погребальным.

Вдали от лота и лопат,

В холодном сумраке забвенья

Сокровищ чудных груды спят;

В глухом безлюдьи льют растенья

Томительный, как сожаленья,

Как тайна сладкий, аромат.le français

XII

ПРЕЖНЯЯ ЖИЗНЬ

Я прожил много лет средь портиков широких,

Что в бликах солнечных торжественно горят;

Как в сумраке пещер базальтовых, глубоких,

Я полюбил бродить под сенью колоннад.

Волной колышима, лазурь небес далеких

И догорающий в моих зрачках закат,

И полнозвучный рев и звон валов высоких

Одной гармонией ласкали слух и взгляд.

Я прожил много лет, покоем восхищенный,

Среди лазури волн и пышной красоты,

С толпой моих рабов, нагой и умащенной;

Зной охлаждающих широких пальм листы

Заботливо рабы над головой качали,

Но тайных ран души, увы, не облегчали.le français

XIII

ЦЫГАНЕ В ПУТИ

Пророческий народ с блестящими зрачками

В путь дальний тронулся, влача своих детей

На спинах, у сосцов отвиснувших грудей,

Питая алчность губ роскошными дарами;

Вслед за кибитками, тяжелыми возами,

Блестя оружием, бредет толпа мужей,

Грустя о призраках первоначальных дней,

Блуждая в небесах усталыми глазами.

Навстречу им сверчок, заслышав шум шагов,

Заводит песнь свою из чащи запыленной;

Кибела стелет им живой ковер цветов,

Струит из скал ручей в пустыне раскаленной,

И тем, чей взор проник во мглу грядущих дней,

Готовит пышный кров средь пыли и камней.le français

XIV

ЧЕЛОВЕК И МОРЕ

Свободный человек, от века полюбил

Ты океан — двойник твоей души мятежной;

В разбеге вечном волн он, как и ты, безбрежный,

Всю бездну горьких дум чудесно отразил.

Ты рвешься ринуться туда; отваги полн,

Чтоб заключить простор холодных вод в объятья,

Развеять скорбь души под гордый ропот волн,

Сливая с ревом вод безумные проклятья.

Вы оба сумрачны, зловеще-молчаливы.

Кто, человек, твои изведал глубины?

Кто скажет, океан, куда погребены

Твои несметные богатства, страж ревнивый?

И, бездны долгих лет сражаясь без конца,

Не зная жалости, пощады, угрызений,

Вы смерти жаждете, вы жаждете сражений,

Два брата страшные, два вечные борца!le français

XV

ДОН ЖУАН [27]В АДУ

Вот к подземной волне он, смеясь, подступает.

Вот бесстрашно обол свой Харону швырнул; [28]

Страшный нищий в лицо ему дерзко взглянул

И весло за веслом у него вырывает.

И, отвислые груди свои обнажив,

Словно стадо загубленных жертв, за кормою

Сонмы женщин мятутся, весь берег покрыв;

Вторят черные своды протяжному вою.

Сганарелло [29]твердит об уплате долгов,

Дон Луис [30]указует рукой ослабелой

Смельчака, осквернившего лоб его белый,

Мертвецам, что блуждают у тех берегов.

Снова тень непорочной Эльвиры [31]склонилась

Пред изменником, полная тихой мольбой,

Чтобы вновь сладость первых речей засветилась,

Чтоб ее подарил он улыбкой одной.

У руля, весь окован железной бронею,

Исполин [32]возвышается черной горой,

Но, на шпагу свою опершися рукою,

За волною следит равнодушно герой.le français

XVI

НАКАЗАНИЕ ГОРДОСТИ [33]

В век Теологии, когда она взросла,

Как сеть цветущая, и землю оплела

(Гласит предание), жил доктор знаменитый.

Он свет угаснувший, в бездонной тьме сокрытый,

На дне погибших душ чудесно вновь зажег,

И горний путь пред ним таинственно пролег,

Путь райских радостей и почестей небесных

В обитель чистых душ и духов бестелесных.

Но высота небес для гордых душ страшна,

И в душу гордую вселился Сатана:

«Иисус, — вскричал мудрец, — ты мною возвеличен,

И мною ж будешь ты низвергнут, обезличен:

С твоею славою ты свой сравняешь стыд, —

Как вид зародыша, смешон твой станет вид!»

Вскричал — и в тот же миг сломился дух упорный,

И солнца светлый лик вдруг креп задернул черный,

И вдруг в его мозгу хаос заклокотал;

Затих померкший храм, где некогда блистал

Торжественный обряд святых великолепий;

Теперь все тихо в нем, навек замкнутом склепе.

И он с тех пор везде блуждает, словно пес;

Не видя ничего вокруг, слепой от слез,

Блуждая по лугам, навек лишенный света,

Не отличает он в бреду зимы от лета,

Ненужный никому и мерзостный для всех,

У злых детей одних будя веселый смех.le français

XVII

КРАСОТА

Вся, как каменная греза, я бессмертна, я прекрасна,

Чтоб о каменные груди ты расшибся, человек;

Страсть, что я внушу поэту, как материя, безгласна

И ничем неистребима, как материя, вовек.

Я, как сфинкс, царю в лазури, выше всякого познанья,

С лебединой белизною сочетаю холод льда;

Я недвижна, я отвергла беглых линий трепетанье,

Никогда не знаю смеха и не плачу никогда!

Эти позы, эти жесты у надменных изваяний

Мною созданы, чтоб душу вы, поэты, до конца

Расточили, изнемогши от упорных созерцаний;

Я колдую, я чарую мне покорные сердца

Этим взором глаз широких, светом вечными зеркальным,

Где предметы отразились очертаньем идеальным!le français

XVIII

ИДЕАЛ

Не вам, утонченно-изящные виньеты,

Созданье хрупкое изнеженных веков,

Ботфорты тощих ног, рук хрупких кастаньеты,

Не вам спасти мой дух, что рвется из оков;

Пусть Гаварни [34]всю жизнь поет свои хлорозы [35]—

Когда б за ним их хор послушный воспевал

Меж вами, бледные и мертвенные розы,

Мне не дано взрастить мой красный идеал.

Как черной пропасти, моей душе глубокой

Желанна навсегда, о леди Макбет, ты,

И вы, возросшие давно, в стране далекой

Эсхила страшного преступные мечты,

И ты, Ночь Анджело [36], что не тревожишь стана,

Сосцы роскошные отдав устам Титана [37]!le français

XIX

ВЕЛИКАНША

В века, когда, горя огнем, Природы грудь

Детей чудовищных рождала сонм несчетный,

Жить с великаншею я стал бы, беззаботный,

И к ней, как страстный кот к ногам царевны, льнуть.

Я б созерцал восторг ее забав ужасных,

Ее расцветший дух, ее возросший стан,

В ее немых глазах блуждающий туман

И пламя темное восторгов сладострастных.

Я стал бы бешено карабкаться по ней,

Взбираться на ее громадные колени;

Когда же в жалящей истоме летних дней

Она ложилась бы в полях под властью лени,

Я мирно стал бы спать в тени ее грудей,

Как у подошвы гор спят хижины селений.le français

XX

МАСКА

Эрнесту Кристофу [38], ваятелю

АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ СТАТУЯ ВО ВКУСЕ РЕНЕССАНСА

Вот чудо грации, Флоренции созданье;

В него восторженно вперяй покорный взор;

В изгибах мускулов и в складок очертанье —

Избыток Прелести и Мощи, двух сестер;

Обожествленная резцом волшебным глыба

Предстала Женщиной, могуча и нежна,

Для ложа пышного царицей создана;

Ее лобзания пленить равно могли бы

И принца и жреца на ложе нег и сна.

С усмешкой тонкою, с улыбкой вожделенной,

Где бродит гордости сверкающий экстаз,

Победоносная, она глядит на нас —

И бледный лик ее, презреньем вдохновленный,

Со всех сторон живит и обрамляет газ.

«Страсть призвала меня, меня Любовь венчает!»

В ней все — величие, и все прекрасно в ней;

Пред чарами ее, волнуясь, цепеней!

Но чудо страшное нежданно взор встречает:

Вдруг тело женщины, где чары божества,

Где обещает все восторг и изумленье —

О чудо мерзкое, позор богохуленья! —

Венчает страшная, двойная голова!

Ее прекрасный лик с гримасою красивой —

Лишь маска внешняя, обманчивый наряд,

И настоящий лик сквозь этот облик лживый

Бросает яростно неотразимый взгляд.

О Красота! клянусь, — река твоих рыданий,

Бурля, вливается в больную грудь мою;

Меня пьянит поток обманов и страданий,

Я из твоих очей струи забвенья пью!

— О чем ее печаль? Пред ней все страны света

Повержены во прах; увы, какое зло

Ее, великую, насквозь пронзить могло —

Ее, чья грудь крепка, сильна, как грудь атлета?

— Ее печаль о том, что многие года

Ей было жить дано, что жить ей должно ныне,

Но, что всего страшней, во мгле ее уныний,

Как нам, ей суждено жить завтра, жить всегда!le français

XXI

ГИМН КРАСОТЕ

Скажи, откуда ты приходишь, Красота?

Твой взор — лазурь небес иль порожденье ада?

Ты, как вино, пьянишь прильнувшие уста,

Равно ты радости и козни сеять рада.

Заря и гаснущий закат в твоих глазах,

Ты аромат струишь, как будто вечер бурный;

Героем отрок стал, великий пал во прах,

Упившись губ твоих чарующею урной.

Прислал ли ад тебя, иль звездные края?

Твой Демон, словно пес, с тобою неотступно;

Всегда таинственна, безмолвна власть твоя,

И все в тебе — восторг, и все в тебе преступно!

С усмешкой гордою идешь по трупам ты,

Алмазы ужаса струят свой блеск жестокий,

Ты носишь с гордостью преступные мечты

На животе своем, как звонкие брелоки.

Вот мотылек, тобой мгновенно ослеплен,

Летит к тебе — горит, тебя благословляя;

Любовник трепетный, с возлюбленной сплетен,

Как с гробом бледный труп, сливается, сгнивая.

Будь ты дитя небес иль порожденье ада,

Будь ты чудовище иль чистая мечта,

В тебе безвестная, ужасная отрада!

Ты отверзаешь нам к безбрежности врата.

Ты Бог иль Сатана? Ты Ангел иль Сирена?

Не все ль равно: лишь ты, царица Красота,

Освобождаешь мир от тягостного плена,

Шлешь благовония и звуки и цвета!le français

XXII

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ [39]

Когда, смежив глаза, на грудь твою склоненный,

Твой знойный аромат впиваю жадно я,

Мне снова грезятся блаженные края:

Вот — монотонными лучами ослепленный,

Спит остров, в полусон лениво погруженный, —

Дерев причудливо сплетенная семья,

Где крепнет строй мужей, избыток сил струя,

Где взоры смелых жен я вижу, изумленный.

Мой дух уносит твой волшебный аромат

Туда, где мачт леса валов колышет ряд,

Изнемогающий от качки беспокойной,

Где тамаринд [40]струит далеко запах свой,

Где он разносится пьянящею волной

И сочетается с напевом песни стройной.le français

XXIII

ШЕВЕЛЮРА

О, завитое в пышные букли руно!

Аромат, отягченный волною истомы,

Напояет альков, где тепло и темно;

Я мечты пробуждаю от сладостной дремы,

Как платок надушенный взбивая руно!..

Нега Азии томной и Африки зной,

Мир далекий, отшедший, о лес благовонный,

Возникает над черной твоей глубиной!

Я парю, ароматом твоим опьяненный,

Как другие сердца музыкальной волной!

Я лечу в те края, где от зноя безмолвны

Люди, полные соков, где жгут небеса;

Пусть меня унесут эти косы, как волны!

Я в тебе, море черное, грезами полный,

Вижу длинные мачты, огни, паруса;

Там свой дух напою я прохладной волною

Ароматов, напевов и ярких цветов;

Там скользят корабли золотою стезею,

Раскрывая объятья для радостных снов,

Отдаваясь небесному, вечному зною.

Я склонюсь опьяненной, влюбленной главой

К волнам черного моря, где скрыто другое,

Убаюканный качкою береговой;

В лень обильную сердце вернется больное,

В колыхание нег, в благовонный покой!

Вы лазурны, как свод высоко-округленный,

Вы — шатер далеко протянувшейся мглы;

На пушистых концах пряди с прядью сплетенной

Жадно пьет, словно влагу, мой дух опьяненный

Запах муска, кокоса и жаркой смолы.

В эти косы тяжелые буду я вечно

Рассыпать бриллиантов сверкающий свет,

Чтоб, ответив на каждый порыв быстротечный,

Ты была как оазис в степи бесконечной,

Чтобы волны былого поили мой бред.le français

XXIV

Тебя, как свод ночной, безумно я люблю,

Тебя, великую молчальницу мою!

Ты — урна горести; ты сердце услаждаешь,

Когда насмешливо меня вдруг покидаешь,

И недоступнее мне кажется в тот миг

Бездонная лазурь, краса ночей моих!

Я как на приступ рвусь тогда к тебе, бессильный,

Ползу, как клуб червей, почуя труп могильный.

Как ты, холодная, желанна мне! Поверь, —

Неумолимая, как беспощадный зверь!le français

XXV

Ожесточенная от скуки злых оков,

Ты всю вселенную вместила б в свой альков;

Отточенных зубов влекома хищной жаждой,

Ты жертву новую на день готовишь каждый.

Твои глаза блестят, как в праздничные дни

На окнах лавочек зажженные огни;

Их блеск — заемный блеск, их власть всегда случайна,

Их красота — тебе неведомая тайна!

Машина мертвая, ты жажду утолишь

Лишь кровью мировой, но мир лишь ты целишь;

Скажи, ужель тебе неведом стыд, ужели

Красоты в зеркалах твои не побледнели?

Иль зла бездонности не видит мудрый взгляд,

И, ужаснувшись, ты не пятишься назад?

Или таинственным намереньем Природы

Твои, о женщина, благословятся роды,

И от тебя в наш мир, прославив грешный род —

Кощунство высшее! — сам гений снизойдет!le français

XXVI

SED NON SATIATA [41]

О странный идол мой, чьи кудри — сумрак ночи;

Сливая дым сигар и муска аромат,

Бедром эбеновым ты мой чаруешь взгляд,

Саванны Фауст ты, дочь черной полуночи!

Душе желаннее, чем опиум, мрак ночи,

Губ милых эликсир, любви смертельный яд;

Пусть караваны грез сзовет твой властный взгляд,

Пусть напоят тоску твои цистерны-очи.

О демон яростный! Зрачками черных глаз

Не изливай мне в грудь своих огней без меры!

Мне не дано обнять, как Стиксу, девять раз [42]

Тебя, развратница, смирить твой пыл Мегеры [43],

Безумье дерзкое бесстрашно обретать

И Прозерпиною [44]на ложе адском стать!le français

XXVII

Когда она идет, роняя блеск огней

Одеждой радужной, сбегающей волнами,

Вдруг вспоминается мне пляска длинных змей

На остриях жезлов, протянутых волхвами.

Как горькие пески, как небеса степей,

Всегда бесчувственны к страданьям и прекрасны,

Как сочетанья волн в безбрежности морей,

Ее движения всегда равно бесстрастны!

В ней всюду тайный смысл, и все так странно в ней;

Ее граненых глаз роскошны минералы,

Где с взором ангельским слит сфинксов взор усталый,

С сияньем золота — игра немых камней;

Как блеск ненужных звезд, роскошен блеск холодный

Величья женщины прекрасной и бесплодной.le français

XXVIII

ТАНЦУЮЩАЯ ЗМЕЯ

Твой вид беспечный и ленивый

          Я созерцать люблю, когда

Твоих мерцаний переливы

          Дрожат, как дальняя звезда.

Люблю кочующие волны

          Благоухающих кудрей,

Что благовоний едких полны

          И черной синевы морей.

Как челн, зарею окрыленный,

          Вдруг распускает паруса,

Мой дух, мечтою умиленный,

          Вдруг улетает в небеса.

И два бесчувственные глаза

          Презрели радость и печаль,

Как два холодные алмаза,

          Где слиты золото и сталь.

Свершая танец свой красивый,

          Ты приняла, переняла

Змеи танцующей извивы

          На тонком острие жезла.

Истомы ношею тяжелой

          Твоя головка склонена —

То вдруг игривостью веселой

          Напомнит мне игру слона.

Твой торс склоненный, удлиненный

          Дрожит, как чуткая ладья,

Когда вдруг реи наклоненной

          Коснется влажная струя.

И, как порой волна, вскипая,

          Растет от таянья снегов,

Струится влага, проникая

          Сквозь тесный ряд твоих зубов.

Мне снится: жадными губами

          Вино богемское я пью,

Как небо, чистыми звездами

          Осыпавшее грудь мою!le français

XXIX

ПАДАЛЬ

Скажи, ты помнишь ли ту вещь, что приковала

Наш взор, обласканный сияньем летних дней,

Ту падаль, что вокруг зловонье изливала,

Труп, опрокинутый на ложе из камней.

Он, ноги тощие к лазури простирая,

Дыша отравою, весь в гное и в поту

Валялся там и гнил, все недра разверзая

С распутством женщины, что кажет наготу.

И солнце жадное над падалью сверкало,

Стремясь скорее все до капли разложить,

Вернуть Природе все, что власть ее соткала,

Все то, что некогда горело жаждой жить!

Под взорами небес, зловонье изливая,

Она раскинулась чудовищным цветком,

И задыхалась ты — и, словно неживая,

Готовилась упасть на свежий луг ничком.

Неслось жужжанье мух из живота гнилого,

Личинок жадные и черные полки

Струились, как смола, из остова живого,

И, шевелясь, ползли истлевшие куски.

Волной кипящею пред нами труп вздымался;

Он низвергался вниз, чтоб снова вырастать,

И как-то странно жил и странно колыхался,

И раздувался весь, чтоб больше, больше стать!

И странной музыкой все вкруг него дышало,

Как будто ветра вздох был слит с журчаньем вод,

Как будто в веялке, кружась, зерно шуршало

И свой ритмический свершало оборот.

Вдруг нам почудилось, что пеленою черной

Распавшись, труп исчез, как побледневший сон.

Как контур выцветший, что, взору непокорный,

Воспоминанием бывает довершен.

И пес встревоженный, сердитый и голодный,

Укрывшись за скалой, с ворчаньем мига ждал,

Чтоб снова броситься на смрадный труп свободно

И вновь глодать скелет, который он глодал.

А вот придет пора — и ты, червей питая,

Как это чудище, вдруг станешь смрад и гной,

Ты — солнца светлый лик, звезда очей златая,

Ты — страсть моей души, ты — чистый ангел мой!

О да, прекрасная — ты будешь остов смрадный,

Чтоб под ковром цветов, средь сумрака могил,

Среди костей найти свой жребий безотрадный,

Едва рассеется последний дым кадил.

Но ты скажи червям, когда без сожаленья

Они тебя пожрут лобзанием своим,

Что лик моей любви, распавшейся из тленья,

Воздвигну я навек нетленным и святым!le français

XXX

DE PROFUNDIS CLAMAVI [45]

Пусть в безднах сумрака душа погребена,

Я вопию к Тебе: дай каплю сожаленья!

Вкруг реют ужасы, кишат богохуленья,

Свинцовый горизонт все обнял, как стена.

Остывший солнца диск здесь катится полгода,

Полгода ночь царит над мертвою страной,

Ни травки, ни ручья, ни зверя предо мной;

На дальнем полюсе — наряднее природа!

Нет больше ужасов для тех, кто одолел

Неумолимый гнев светила ледяного,

Мрак ночи, Хаоса подобие седого,

И я завидую всем тварям, чей удел —

Забыться сном, чей дух небытие впивает,

Покуда свой клубок здесь Время развивает!le français

XXXI

ВАМПИР

В мою больную грудь она

Вошла, как острый нож, блистая,

Пуста, прекрасна и сильна,

Как демонов безумных стая.

Она в альков послушный свой

Мой бедный разум превратила;

Меня, как цепью роковой,

Сковала с ней слепая сила.

И как к игре игрок упорный,

Иль горький пьяница к вину,

Как черви к падали тлетворной,

Я к ней, навек проклятой, льну.

Я стал молить: «Лишь ты мне можешь

Вернуть свободу, острый меч;

Ты, вероломный яд, поможешь

Мое бессилие пресечь!»

Но оба дружно: «Будь покоен! —

С презреньем отвечали мне. —

Ты сам свободы недостоин,

Ты раб по собственной вине!

Когда от страшного кумира

Мы разум твой освободим,

Ты жизнь в холодный труп вампира

Вдохнешь лобзанием своим!»le français

XXXII

Я эту ночь провел с еврейкою ужасной;

Как возле трупа труп, мы распростерлись с ней,

И я всю ночь мечтал, не отводя очей

От грустных прелестей, унылый и бесстрастный.

Она предстала мне могучей и прекрасной,

Сверкая грацией далеких, прошлых дней;

Как благовонный шлем, навис убор кудрей —

И вновь зажглась в душе любовь мечтою властной.

О, я б любил тебя; в порыве жгучих грез

Я б расточал тебе сокровища лобзаний,

От этих свежих ног до этих черных кос,

Когда бы, без труда сдержав волну рыданий,

Царица страшная! во мраке вечеров

Ты затуманила холодный блеск зрачков!le français

XXXIII

ПОСМЕРТНЫЕ УГРЫЗЕНИЯ

Когда ты будешь спать средь сумрака могилы,

И черный мавзолей воздвигнут над тобой;

Когда, прекрасная, лишь ров да склеп унылый

Заменят твой альков и замок пышный твой;

Когда могильная плита без сожаленья

Придавит робкую, изнеженную грудь,

Чтоб в сердце замерло последнее биенье,

Чтоб ножки резвые прервали скользкий путь:

Тогда в тиши ночей без сна и без просвета

Пускай тебе шепнет могильная плита,

Одна достойная наперсница поэта:

«Твоя пустая жизнь позорно прожита;

О том, что мертвецы рыдают, ты не знала!»

Тебя источит червь, как угрызений жало.le français

XXXIV

КОШКА

Спрячь когти, кошечка; сюда, ко мне на грудь,

            Что лаской нежною к тебе всегда объята,

И дай моим глазам в твоих глазах тонуть,

            Где слит холодный блеск металла и агата!

Когда ласкаю я то голову твою,

            То спину гибкую своей рукой небрежной,

Когда, задумчивый, я светлый рой ловлю

            Искр электрических, тебя касаясь нежно,

В моей душе встает знакомое виденье:

Ее бесчувственный, ее холодный взгляд

Мне в грудь вонзается, как сталь, без сожаленья,

И с головы до ног, как тонкий аромат,

Вкруг тела смуглого струя смертельный яд,

Она со мной опять, как в прежние мгновенья.le français

XXXV

DUELLUM [46]

Бойцы сошлись на бой, и их мечи вокруг

Кропят горячий пот и брызжут красной кровью.

Те игры страшные, тот медный звон и стук —

Стенанья юности, растерзанной любовью!

В бою раздроблены неверные клинки,

Но острый ряд зубов бойцам заменит шпаги:

Сердца, что позднею любовью глубоки,

Не ведают границ безумья и отваги!

И вот в убежище тигрят, в глухой овраг

Скатился в бешенстве врага сдавивший враг,

Кустарник багряня кровавыми струями!

Та пропасть — черный ад, наполненный друзьями;

С тобой, проклятая, мы скатимся туда,

Чтоб наша ненависть осталась навсегда!le français

XXXVI

БАЛКОН

О цариц царица, мать воспоминаний,

Ты, как долг, как счастье, сердцу дорога,

Ты — воскресший отблеск меркнущих лобзаний,

В сумерках вечерних сладость очага,

О цариц царица, мать воспоминаний!

Вечерами углей жаркое дыханье

И балкон под дымкой розовых паров,

Ласки сердца, нежных грудей колыханья

И чуть внятный шепот незабвенных слов,

Вечерами углей жаркое дыханье!

Снова грудь крепчает в глубине простора,

В теплой мгле вечерней так хорош закат!

Преклоненный силой царственного взора,

Нежной крови пью я тонкий аромат;

Снова грудь крепчает в глубине простора!

Встала ночь, сгущаясь, черною стеною,

Но зрачков горячих ищет страстный взгляд;

Убаюкав ножки братскою рукою,

Пью твое дыханье, как прелестный яд;

Встала ночь, сгущаясь, черною стеною.

Мне дано искусство воскрешать мгновенья

И к твоим коленам льнущие мечты;

В нежном сердце, в теле, что полны томленья,

Я ищу, волнуясь, грустной красоты.

Мне дано искусство воскрешать мгновенья!

Ароматы, шепот, без конца лобзанья!

Кто из бездн запретных вас назад вернет,

Как лучей воскресших новые блистанья,

Если ночь омоет их в пучинах вод?

Ароматы, шепот, без конца лобзанья!le français

XXXVII

ОДЕРЖИМЫЙ

Смотри, диск солнечный задернут мраком крепа;

Окутайся во мглу и ты, моя Луна,

Курясь в небытии, безмолвна и мрачна,

И погрузи свой лик в бездонный сумрак склепа.

Зову одну тебя, тебя люблю я слепо!

Ты, как ущербная звезда, полувидна;

Твои лучи влечет Безумия страна;

Долой ножны, кинжал, сверкающий свирепо!

Скорей, о пламя люстр, зажги свои зрачки!

Свои желания зажги, о взор упорный!

Всегда желанна ты во мгле моей тоски;

Ты — розовый рассвет, ты — Ночи сумрак черный;

Все тело в трепете, всю душу полнит гул, —

Я вопию к тебе, мой бог, мой Вельзевул [47]!le français

XXXVIII

ПРИЗРАК

I

МРАК

Велением судьбы я ввергнут в мрачный склеп,

Окутан сумраком таинственно-печальным;

Здесь Ночь предстала мне владыкой изначальным;

Здесь, розовых лучей лишенный, я ослеп.

На вечном сумраке мечты живописуя,

Коварным Господом я присужден к тоске;

Здесь сердце я сварю, как повар, в кипятке

И сам в груди своей его потом пожру я!

Вот, вспыхнув, ширится, колышется, растет,

Ленивой грацией приковывая око,

Великолепное видение Востока;

Вот протянулось ввысь и замерло — и вот

Я узнаю Ее померкшими очами:

Ее, то темную, то полную лучами.

II

АРОМАТ

Читатель, знал ли ты, как сладостно душе,

Себя медлительно, блаженно опьяняя,

Пить ладан, что висит, свод церкви наполняя,

Иль едким мускусом пропахшее саше?

Тогда минувшего иссякнувший поток

Опять наполнится с магическою силой,

Как будто ты сорвал на нежном теле милой

Воспоминания изысканный цветок!

Саше пахучее, кадильница алькова,

Ее густых кудрей тяжелое руно

Льет волны диких грез и запаха лесного;

В одеждах бархатных, где все еще полно

Дыханья юности невинного, святого,

Я запах меха пью, пьянящий, как вино.

III

РАМКА

Как рамка лучшую картину облекает

Необъяснимою, волшебной красотой,

И, отделив ее таинственной чертой

От всей Природы, к ней вниманье привлекает,

Так с красотой ее изысканной слиты

Металл и блеск камней и кресел позолота:

К ее сиянью все спешит прибавить что-то,

Все служит рамкою волшебной красоты.

И вот ей кажется, что все вокруг немеет

От обожания, и торс роскошный свой

Она в лобзаниях тугих шелков лелеет,

Сверкая зябкою и чуткой наготой;

Она вся грации исполнена красивой

И обезьянкою мне кажется игривой.

IV

ПОРТРЕТ

Увы, Болезнь и Смерть все в пепел превратили;

Огонь, согревший нам сердца на миг, угас;

И нега знойная твоих огромных глаз

И влага пышных губ вдруг стали горстью пыли.

Останки скудные увидела душа;

Где вы, пьянящие, всесильные лобзанья,

Восторгов краткие и яркие блистанья?..

О, смутен контур твой, как три карандаша.

Но в одиночестве и он, как я, умрет —

И Время, злой старик, день ото дня упорно

Крылом чудовищным его следы сотрет…

Убийца дней моих, палач мечтаний черный,

Из вечной памяти досель ты не исторг

Ее — души моей и гордость и восторг!le français

XXXIX [48]

Тебе мои стихи! Когда поэта имя,

Как легкая ладья, что гонит Аквилон [49],

Причалит к берегам неведомых времен

И мозг людей зажжет виденьями своими —

Пусть память о тебе назойливо гремит,

Пусть мучит, как тимпан [50], чарует, как преданье,

Сплетется с рифмами в мистическом слиянье,

Как только с петлей труп бывает братски слит!

Ты, бездной адскою, ты, небом проклятая,

В одной моей душе нашла себе ответ!

Ты тень мгновенная, чей контур гаснет, тая.

Глумясь над смертными, ты попираешь свет

И взором яшмовым и легкою стопою,

Гигантским ангелом воздвигшись над толпою!le français

XL

SEMPER EADEM [51]

«Откуда скорбь твоя? Зачем ее волна

Взбегает по скале, чернеющей отвесно?»

— Тоской доступной всем, загадкой всем известной

Исполнена душа, где жатва свершена.

Сдержи свой смех, равно всем милый и понятный,

Как правда горькая, что жизнь — лишь бездна зла;

Пусть смолкнет, милая, твой голос, сердцу внятный,

Чтоб на уста печать безмолвия легла.

Ты знаешь ли, дитя, чье сердце полно света

И чьи улыбчивы невинные уста, —

Что Смерть хитрей, чем Жизнь, плетет свои тенета?

Но пусть мой дух пьянит и ложная мечта!

И пусть утонет взор в твоих очах лучистых,

Вкушая долгий сон во мгле ресниц тенистых.le français

XLI

ВСЕ НЕРАЗДЕЛЬНО

Сам Демон в комнате высокой

Сегодня посетил меня;

Он вопрошал мой дух, жестоко

К ошибкам разум мой клоня:

«В своих желаниях упорных

Из всех ее живых красот,

И бледно-розовых и черных,

Скажи, что вкус твой предпочтет?»

«Уйди!» — нечистому сказала

Моя влюбленная душа:

«В ней все — диктам [52], она мне стала

Вся безраздельно хороша!

В ней все мне сердце умиляет,

Не знаю „что", не знаю „как";

Она, как утро, ослепляет,

И утоляет дух, как мрак.

В ней перепутана так сложно

Красот изысканная нить,

Ее гармоний невозможно

В ряды аккордов разрешить.

Душа исполнена влиянья

Таинственных метаморфоз:

В ней стало музыкой дыханье,

А голос — ароматом роз!»le français

XLII

Что можешь ты сказать, мой дух, всегда ненастный,

Душа поблекшая, что можешь ты сказать

Ей, полной благости, ей, щедрой, ей, прекрасной?

Один небесный взор — и ты цветешь опять!..

Напевом гордости да будет та хвалима,

Чьи очи строгие нежнее всех очей,

Чья плоть — безгрешное дыханье херувима,

Чей взор меня облек в одежду из лучей!

Всегда: во тьме ночной, холодной и унылой,

На людной улице, при ярком свете дня,

Передо мной скользит, дрожит твой облик милый,

Как факел, сотканный из чистого огня:

«Предайся Красоте душой, в меня влюбленной;

Я буду Музою твоею и Мадонной!»le français

XLIII

ЖИВОЙ ФАКЕЛ

Глаза лучистые, вперед идут они,

Рукою Ангела превращены в магниты,

Роняя мне в глаза алмазные огни, —

Два брата, чьи сердца с моим чудесно слиты.

Все обольщения рассеяв без следа,

Они влекут меня высокою стезею;

За ними следую я рабскою стопою,

Живому факелу предавшись навсегда!

Глаза прелестные! Мистическим сияньем

Подобны вы свечам при красном свете дня,

Вы — луч померкнувший волшебного огня!..

Но свечи славят Смерть таинственным мерцаньем,

А ваш негаснущий, неистребимый свет —

Гимн возрождения, залог моих побед!le français

XLIV

ВОЗВРАТИМОСТЬ [53]

Ангел, радостный Ангел, ты знаешь ли муки,

Безнадежность рыданий и горький позор,

Страх бессонных ночей и томление скуки,

И безжалостной совести поздний укор?

Ангел, радостный Ангел, ты знаешь ли муки?

Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую,

Руки сжатые, слезы обиды в глазах,

В час, как Месть, полновластная в наших сердцах,

Адским зовом встревожит нам душу больную?

Ангел добрый, ты знаешь ли злобу слепую?

Ангел, полный здоровья, ты знаешь больницы,

Где болезни, как узники, шаткой стопой

В бледном сумраке бродят по стенам темницы, —

Ищут мертвые губы их луч золотой?

Ангел, полный здоровья, ты знаешь больницы?

Язвы оспы ты знаешь ли, Ангел прекрасный,

Близость старости мертвой и мерзостный миг,

Коль во взорах, где взор опьяняется страстный,

Ты нежданно предательства жажду постиг?

Язвы оспы ты знаешь ли, Ангел прекрасный?

Ангел полный сиянья и счастьем богатый,

Царь Давид умолял бы [54], в час смерти любя,

Чтоб его воскресили твои ароматы;

Я же только молитвы прошу у тебя,

Ангел полный сиянья и счастьем богатый!le français

XLV

ПРИЗНАНИЕ

О, незабвенный миг! То было только раз:

Ты на руку мою своей рукой учтивой

Вдруг так доверчиво, так нежно оперлась,

Надолго озарив мой сумрак сиротливый.

Тогда был поздний час; как новая медаль,

Был полный диск луны на мраке отчеканен,

И ночь торжественной рекой катилась вдаль;

Вкруг мирно спал Париж, и звук шагов был странен;

Вдоль дремлющих домов, в полночной тишине

Лишь кошки робкие, насторожась, шныряли,

Как тени милые, бродили при луне

И, провожая нас, шаг легкий умеряли.

Вдруг близость странная меж нами расцвела,

Как призрачный цветок, что вырос в бледном свете,

И ты, чья молодость в своем живом расцвете

Лишь пышным праздником и радостью была,

Ты, светлый звон трубы, в лучах зари гремящей —

В миг странной близости, возникшей при луне,

Вдруг нотой жалостной, неверной и кричащей,

Как бы непрошеной, пронзила сердце мне.

Та нота вырвалась и дико и нелепо,

Как исковерканный, беспомощный урод,

Заброшенный семьей навек во мраке склепа

И вдруг покинувший подземный, тайный свод.

Та нота горькая, мой ангел бедный, пела:

«Как все неверно здесь, где смертью все грозит!

О, как из-под румян, подделанных умело,

Лишь бессердечие холодное сквозит!

Свой труд танцовщицы, и скучный и банальный,

Всегда готова я безумно клясть, как зло;

Пленять сердца людей улыбкой машинальной

И быть красавицей — плохое ремесло.

Возможно ли творить, где все живет мгновенье,

Где гибнет красота, изменчива любовь,

И где поглотит все холодное Забвенье,

Где в жерло Вечности все возвратится вновь!»

Как часто вижу я с тех пор в воспоминанье

Молчанье грустное, волшебный свет луны

И это горькое и страшное признанье,

Всю эту исповедь под шепот тишины!le français

XLVI

ДУХОВНАЯ ЗАРЯ

Лишь глянет лик зари, и розовый и белый,

И строгий Идеал, как грустный, чистый сон,

Войдет к толпе людей, в разврате закоснелой,

В скоте пресыщенном вдруг Ангел пробужден.

И души падшие, чья скорбь благословенна,

Опять приближены к далеким небесам,

Лазурной бездною увлечены мгновенно;

Не так ли, чистая Богиня, сходит к нам

В тот час, когда вокруг чадят останки оргий,

Твой образ, сотканный из розовых лучей?

Глаза расширены в молитвенном восторге;

Как Солнца светлый лик мрачит огни свечей,

Так ты, моя душа, свергая облик бледный,

Вдруг блещешь вновь, как свет бессмертный,

                                                  всепобедный.le français

XLVII

ГАРМОНИЯ ВЕЧЕРА

В час вечерний здесь каждый дрожащий цветок,

Как кадильница, льет фимиам, умиленный,

Волны звуков сливая с волной благовонной;

Где-то кружится вальс, безутешно-глубок;

Льет дрожащий цветок фимиам, умиленный,

Словно сердце больное, рыдает смычок,

Где-то кружится вальс, безутешно-глубок,

И прекрасен закат, как алтарь позлащенный;

Словно сердце больное, рыдает смычок, —

Словно робкое сердце пред тьмою бездонной,

И прекрасен закат, как алтарь позлащенный;

Погружается солнце в кровавый поток…

Снова робкое сердце пред тьмою бездонной

Ищет в прошлом угаснувших дней огонек;

Погружается солнце в кровавый поток…

Но как отблеск потира [55]— твой образ священный!le français

XLVIII

ФЛАКОН

Есть проникающий все поры аромат,

Подчас в самом стекле не знающий преград.

Раскупорив сундук, приплывший к нам с Востока,

С замком, под пальцами скрежещущим жестоко,

Иль в доме брошенном и пыльном разыскав

Весь полный запахов годов минувших шкаф,

Случалось ли тебе найти флакон забытый, —

И в миг овеян ты душой, в стекле сокрытой.

Там в забытьи дремал, с тяжелым мраком слит,

Рой мыслей, словно горсть печальных хризалид [56];

Вдруг, крылья распустив, причудливой толпою

Он слил цвет розовый с лазурью золотою.

Не так ли нас пьянит и носится вокруг

Воспоминаний рой, от сна очнувшись вдруг?

Нас, взор смежив, влечет безумье к бездне черной,

Где — человеческих миазмов дух тлетворный.

Душа низринута во тьму седых веков.

Где Лазарь [57], весь смердя, встает среди гробов,

Как привидение, и саван разрывает;

Восторг былых страстей в нем сердце надрывает.

Так погружусь и я в забвенье и во мглу,

Заброшен в пыльный шкаф, забыт в его углу;

Флакон надтреснутый, нечистый, липкий, пыльный

Я сохраню тебя, чума, как склеп могильный.

О жизнь моей души, о сердца страшный яд!

Я всем поведаю, что твой всесилен взгляд,

Что сами ангелы мне в грудь отраву влили

И что напиток тот мои уста хвалили!le français

XLIX

ОТРАВА [58]

Порой вино притон разврата

В чертог волшебный превратит

Иль в портик сказочно богатый,

Где всюду золото блестит,

Как в облаках — огни заката.

Порою опий властью чар

Раздвинет мир пространств безбрежный,

Удержит мигов бег мятежный

И в сердце силой неизбежной

Зажжет чудовищный пожар!

Твои глаза еще страшнее,

Твои зеленые глаза:

Я опрокинут в них, бледнея;

К ним льнут желанья, пламенея,

И упояет их гроза.

Но жадных глаз твоих страшнее

Твоя язвящая слюна;

Душа, в безумьи цепенея,

В небытие погружена,

И мертвых тихая страна

Уже отверста перед нею!le français

L

ОБЛАЧНОЕ НЕБО

Как дымка, легкий пар прикрыл твой взор ненастный;

То нежно-грезящий, то гневный и ужасный,

То серо-пепельный, то бледно-голубой,

Бесцветный свод небес он отразил собой.

Он влажность знойных дней на память вновь приводит,

Тех дней, когда душа в блаженстве слез исходит,

Когда, предчувствием зловещим потрясен,

Мятется дух в бреду, а ум вкушает сон.

Ты — даль прекрасная печальных кругозоров,

Лучей осенних свет, сень облачных узоров;

Ты — пышный, поздний блеск увлаженных полей,

С лазури облачной ниспавший сноп лучей.

Как хлопья инея, как снежные морозы,

Пленительны твои безжалостные грозы;

Душа, влюбленная в металл и в скользкий лед,

Восторг утонченный в тебе одной найдет!le français

LI

КОТ

I

Как в комнате простой, в моем мозгу с небрежной

И легкой грацией все бродит чудный кот;

Он заунывно песнь чуть слышную поет;

Его мяуканье и вкрадчиво и нежно.

Его мурлыканья то внятнее звучат,

То удаленнее, спокойнее, слабее;

Тот голос звуками глубокими богат

И тайно властвует он над душой моею.

Он в недра черные таинственно проник,

Повиснул сетью струй, как капли, упадает;

К нему, как к зелию, устами я приник,

Как строфы звучные, он грудь переполняет.

Мои страдания он властен покорить,

Ему дано зажечь блаженные экстазы,

И незачем ему, чтоб с сердцем говорить,

Бесцельные слова слагать в пустые фразы.

Тот голос сладостней певучего смычка,

И он торжественней, чем звонких струн дрожанье;

Он грудь пронзает мне, как сладкая тоска,

Недостижимое струя очарованье.

О чудный, странный кот! Кто голос твой хоть раз

И твой таинственный напев хоть раз услышит,

Он снизойдет в него, как серафима глас,

Где все утонченной гармониею дышит.

II

От этой шубки черно-белой

Исходит тонкий аромат;

Ее коснувшись, вечер целый

Я благовонием объят.

Как некий бог — быть может, фея —

Как добрый гений здешних мест,

Всем управляя, всюду вея,

Он наполняет все окрест.

Когда же снова взгляд влюбленный

Я, устремив в твой взор, гляжу, —

Его невольно вновь, смущенный,

Я на себя перевожу;

Тогда твоих зрачков опалы,

Как два фонарика, горят,

И ты во мгле в мой взгляд усталый

Свой пристальный вперяешь взгляд.le français

LII

ПРЕКРАСНЫЙ КОРАБЛЬ

Я расскажу тебе, изнеженная фея,

Все прелести твои в своих мечтах лелея,

                     Что блеск твоих красот

Сливает детства цвет и молодости плод!

Твой плавный, мерный шаг края одежд колышет,

Как медленный корабль, что ширью моря дышит,

                     Раскинув парус свой,

Едва колеблемый ритмической волной.

Над круглой шеею, над пышными плечами

Ты вознесла главу; спокойными очами

                     Уверенно блестя,

Как величавое ты шествуешь дитя!

Я расскажу тебе, изнеженная фея,

Все прелести твои в своих мечтах лелея,

                     Что блеск твоих красот

Сливает детства цвет и молодости плод.

Как шеи блещущей красив изгиб картинный!

Муаром он горит, блестя, как шкаф старинный;

                     Грудь каждая, как щит,

Вдруг вспыхнув, молнии снопами источит.

Щиты дразнящие, где будят в нас желанья

Две точки розовых, где льют благоуханья

                     Волшебные цветы,

Где все сердца пьянят безумные мечты!

Твой плавный, мерный шаг края одежд колышет,

Ты — медленный корабль, что ширью моря дышит,

                     Раскинув парус свой,

Едва колеблемый ритмической волной!

Твои колени льнут к изгибам одеяний,

Сжигая грудь огнем мучительных желаний;

                     Так две колдуньи яд

В сосуды черные размеренно струят.

Твоим рукам сродни Геракловы забавы,

И тянутся они, как страшные удавы,

                     Любовника обвить,

Прижать к твоей груди и в грудь твою вдавить!

Над круглой шеею, над пышными плечами

Ты вознесла главу; спокойными очами

                     Уверенно блестя,

Как величавое ты шествуешь дитя!le français

LIII

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

              Дорогое дитя!

              Унесемся, шутя,

К жизни новой, далекой, блаженной,

              Чтоб любить и гореть

              И, любя, умереть

В той стране — как и ты, совершенной!

              В небесах влажный луч

              Меж разорванных туч

Взор таинственно манит, ласкает,

              Как изменой глаза,

              Где прозрачна слеза,

Где сквозь слезы улыбка мелькает.

Там Прекрасного строгая власть,

Безмятежность, и роскошь, и страсть!

              Там блестит долгих лет

              Вкруг на мебели след,

Наш укромный приют украшая;

              Купы редких цветов

              Напоят наш альков,

С легкой амброй свой запах мешая.

              Там богатый плафон

              В зеркалах повторен,

Все там дышит роскошным Востоком,

              И всегда об одном,

              Лишь о милом, родном

С изумленным беседует оком!

Там Прекрасного строгая власть,

Безмятежность, и роскошь, и страсть.

              На каналах вдали

              Чутко спят корабли,

Но капризен их сон безмятежный;

              Захоти — и опять

              Понесется их рать

За пределы вселенной безбрежной.

              — Догорает закат,

              И лучи золотят

Гиацинтовым блеском каналы;

              Всюду сон, всюду мир,

              Засыпает весь мир,

Теплым светом облитый, усталый.

Там Прекрасного строгая власть,

Безмятежность, и роскошь, и страсть.le français

LIV

НЕПОПРАВИМОЕ

Как усыпить в груди былого угрызенья?

Они копошатся, и вьются, и ползут, —

Так черви точат труп, не зная сожаленья,

Так гусеницы дуб грызут!

Как усыпить в груди былого угрызенья?

Где утопить врага: в вине, в любовном зелье,

Исконного врага больной души моей?

Душой развратною он погружен в похмелье,

Неутомим, как муравей.

Где утопить его: в вине, в любовном зелье? —

Скажи погибшему, волшебница и фея,

Скажи тому, кто пал, изнывши от скорбей,

Кто в грудах раненых отходит, цепенея,

Уже растоптанный копытами коней,

Скажи погибшему, волшебница и фея!

Скажи тому, чей труп почуял волк голодный

И ворон сторожит в безлюдии ночном,

Кто, как солдат, упал с надеждою бесплодной

Заснуть под собственным крестом:

Скажи тому, чей труп почуял волк голодный!

Как озарить лучом небесный мрак бездонный?

Когда пронижет ночь лучистая стрела?

Ни звезд, ни трепета зарницы похоронной;

Покровы тьмы — смола!

Как озарить лучом небесный мрак бездонный?

Надежда бледная в окне едва мигала,

И вдруг угасло все, угасло навсегда,

Бездомных путников дорога истерзала,

Луна померкла без следа!

Все Дьявол угасил, что там в окне мигало!

Скажи, любила ль ты, волшебное созданье,

Погибших навсегда? Скажи, видала ль ты

Непоправимого бесплодные страданья,

Тоской изрытые черты?

Скажи, любила ль ты, волшебное созданье?

Непоправимое мне сердце рвет и гложет

Зубами острыми и, как термитов рой —

Забытый мавзолей, безжалостно тревожит

Дух обветшалый мой!..

Непоправимое мне сердце рвет и гложет!

На дне банальных сцен я наблюдал не раз,

Когда оркестра гром вдруг вспыхнет, пламенея,

Как зажигала вмиг зари волшебной газ

На адских небесах сияющая фея;

На дне банальных сцен я наблюдал не раз,

Как призрак, сотканный из золота и газа,

На землю низвергал гиганта-Сатану;

И ты, душа моя, не знавшая экстаза, —

Лишь сцена пошлая, где ждут мечту одну,

Лишь призрак, сотканный из золота и газа.le français

LV

РАЗГОВОР

Ты вся — как розовый осенний небосклон!

Во мне же вновь растет печаль, как вал прилива,

И отступает вновь, как море, молчалива,

И пеной горькою я снова уязвлен.

— Твоя рука скользит в объятиях бесплодных,

К моей поруганной груди стремясь прильнуть;

Когтями женщины моя изрыта грудь,

И сердце пожрано толпой зверей голодных.

Чертог моей души безбожно осквернен;

Кощунство, оргия и смерть со всех сторон!

— Струится аромат вкруг шеи обнаженной!

В нем, Красота, твой бич, твой зов и твой закон!

Сверкни же светлыми очами, дорогая,

Зверям ненужный прах их пламенем сжигая!le français

LVI

ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

I

Мы скоро в сумраке потонем ледяном;

Прости же, летний свет, и краткий и печальный;

Я слышу, как стучат поленья за окном,

Их гулкий стук звучит мне песней погребальной.

В моей душе — зима, и снова гнев и дрожь,

И безотчетный страх, и снова труд суровый;

Как солнца льдистый диск, так, сердце, ты замрешь,

Ниспав в полярный ад громадою багровой!

С тревогой каждый звук мой чуткий ловит слух;

То — эшафота стук… Не зная счета ранам,

Как башня ветхая, и ты падешь, мой дух,

Давно расшатанный безжалостным тараном.

Тот монотонный гул вливает в душу сон,

Мне снится черный гроб, гвоздей мне внятны звуки;

Вчера был летний день, и вот сегодня — стон

И слезы осени, предвестники разлуки.

II

Люблю ловить в твоих медлительных очах

Луч нежно-тающий и сладостно-зеленый;

Но нынче бросил я и ложе и очаг,

В светило пышное и отблеск волн влюбленный.

Но ты люби меня, как нежная сестра,

Как мать, своей душой в прощении безмерной;

Как пышной осени закатная игра,

Согрей дыханьем грудь и лаской эфемерной:

Последний долг пред тем, кого уж жаждет гроб!

Дай мне, впивая луч осенний, пожелтелый,

Мечтать, к твоим ногам прижав холодный лоб,

И призрак летних дней оплакать знойно-белый.le français

LVII

МАДОННЕ

EX–VOTO [59]В ИСПАНСКОМ ВКУСЕ

Тебе, Владычица, тебе, моя Мадонна,

Воздвигну я алтарь в душе, чья скорбь бездонна;

Вдали от праздных глаз, от всех земных страстей,

В заветной глубине, где мрак всего черней,

Я нишу иссеку лазурно-золотую,

Сокрою Статую под ней твою святую;

Из Строф, где я в узор единый сочетал

Кристаллы стройных рифм и звонких строк металл,

Я для тебя скую гигантскую Корону;

Я на тебя потом, на смертную Мадонну,

Исполнен Ревностью, Сомненьем и Тоской,

Как будку тесную, бестрепетной рукой

Наброшу Мантию тяжелого покроя,

Очарование твоих красот утроя;

В узоры Слез моих, как в Перлы, убрана,

Страстей трепещущих широкая волна

Пусть обовьет твой стан, струясь, как Одеянье,

На теле розовом запечатлев лобзанье.

Стопам божественным отдав Любовь свою,

Я из нее тебе два Башмачка сошью,

Чтоб крепче раковин они те ножки сжали,

Чтоб, попирая, их те ножки унижали.

И если мне нельзя, свои свершая сны,

Ступени выковать из серебра Луны, —

Змею, грызущую мне сердце и утробу,

Под каблучки твои швырну, питая злобу,

Чтобы чудовище, язвящее слюной,

Победоносною сдавила ты стопой.

Пред алтарем твоим, Царица Дев святая,

Как стройный ряд Свечей, торжественно блистая,

Мечты затеплятся, с лазурной вышины

Взирая на тебя, вверху отражены.

Перед тобой я весь — восторг и обожанье,

Как Смирны аромат, как Ладана дыханье,

И лишь к тебе, моей вершине снеговой,

Я вечно Тучею стремлюся грозовой.

Потом, чтоб до конца исполнить роль Марии,

Чтоб с лютой пыткой слить мечты любви святые,

Я смертных семь Грехов искусно отточу

Как семь ножей, чтоб их, как должно палачу,

Наметив цель себе в твоей любви великой, —

Рукой искусною, рукой безумно-дикой

Все семь Ножей в твою святую Грудь воткнуть —

В твою покорную и трепетную Грудь!le français

LVIII

ПЕСНЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Пусть искажен твой лик прелестный

Изгибом бешеных бровей —

Твой взор вонзается живей;

И, пусть не ангел ты небесный,

Люблю тебя безумно, страсть,

Тебя, свободу страшных оргий;

Как жрец пред идолом, в восторге

Перед тобой хочу упасть!

Пустынь и леса ароматы

Плывут в извивах жестких кос;

Ты вся — мучительный вопрос,

Влияньем страшных тайн богатый!

Как из кадильниц легкий дым,

Твой запах вкруг тебя клубится,

Твой взгляд — вечерняя зарница,

Ты дышишь сумраком ночным,

Твоей истомой опьяненным.

Ты драгоценней, чем вино,

И трупы оживлять дано

Твоим объятьям исступленным!

Изгиб прильнувших к груди бедр

Пронзает дрожь изнеможений;

Истомой медленных движений

Ты нежишь свой роскошный одр.

Порывы бешеных страстей

В моих объятьях утоляя,

Лобзанья, раны расточая,

Ты бьешься на груди моей:

То, издеваясь, грудь мою

С безумным смехом раздираешь,

То в сердце тихий взор вперяешь,

Как света лунного струю.

Склонясь в восторге упоений

К твоим атласным башмачкам,

Я все сложу к твоим ногам:

Мой вещий рок, восторг мой, гений!

Твой свет, твой жар целят меня,

Я знаю счастье в этом мире!

В моей безрадостной Сибири

Ты — вспышка яркого огня!le français

LIX

SISINA

Скажи, ты видел ли, как гордая Диана [60]

Легко и весело несется сквозь леса,

К толпе поклонников не преклоняя стана,

Упившись криками, по ветру волоса?

Ты видел ли Théroigne [61], что толпы зажигает,

В атаку чернь зовет и любит грохот сеч,

Чей смелый взор — огонь, когда, подняв свой меч,

Она по лестницам в дворцы царей вбегает?

Не так ли, Sisina [62], горит душа твоя!

Но ты щедротами полна, и смерть тая, —

Но ты, влюбленная в огонь и порох бурно,

Перед молящими спешишь, окончив бой,

Сложить оружие — и слезы льешь, как урна [63],

Опустошенная безумною борьбой.le français

LX

LOUANGES DE MA FRANÇOISE [64]

Je te chanterai sur des cordes nouvelles,

Ô ma bichette qui te joues

Dans la solitude de mon cœur.

Sois parée de guirlandes,

Ô femme delicieuse

Par qui les péchés sont remis.

Comme d'un bienfaisant Léthé,

Je puiserai des baisers de toi

Qui es imprégnée d'aimant.

Quand la tempête des vices

Troublait toutes les routes,

Tu m'es apparue, Déité,

Comme une étoile salutaire

Dans les naufrages amers…

— Je suspendrai mon cœur à tes autels!

Piscine pleine de vertu,

Fontaine d'éternelle jouvence,

Rends la voix à mes lèvres muettes!

Ce qui était vil, tu l'as brûlé;

Rude, tu l'as aplani;

Débile, tu l'as affermi.

Dans la faim, mon auberge,

Dans la nuit ma lampe,

Guide-moi toujours comme il faut.

Ajoute maintenant des forces à mes forces.

Doux bain parfumé

De suaves odeurs!

Brille autour de mes reins,

Ô ceinture de chasteté,

Trempée d'eau séraphique;

Coupe étincelante de pierreries,

Pain relevé de sel, mets délicat,

Vin divin, Françoise.le français

LXI

КРЕОЛКЕ [65]

Я с нею встретился в краю благоуханном,

Где в красный балдахин сплелась деревьев сень,

Где каплет с стройных пальм в глаза густая лень.

Как в ней дышало все очарованьем странным:

И кожи тусклые и теплые тона,

И шеи контуры изящно-благородной,

И поступь смелая охотницы свободной,

Улыбка мирная и взоров глубина.

О, если б ты пришла в наш славный край и строгий,

К Луаре сумрачной иль к Сены берегам,

Достойная убрать античные чертоги:

Как негры черные, склонясь к твоим ногам,

Толпы покорные восторженных поэтов

Сложили б тысячи и тысячи сонетов.le français

LXII

MOESTA ET ERRABUNDA [66]

Ты ночною порой улетала ль, Агата [67],

Из нечистого моря столицы больной

В бездну моря иного, что блеском богато,

Ослепляя лазурной своей глубиной?

Ты ночною порой улетала ль, Агата?

Исцели наше сердце от горьких забот,

Ты, зловеще ревущая ширь океана,

Сочетая журчанье певучее вод

С воем ветра, как с рокотом грозным органа!

Исцели наше сердце от горьких забот!

На колесах вагона, на крыльях фрегата

Я умчусь от нечистых, беспомощных слез;

Шепот сердца больного ты слышишь, Агата:

— Прочь от мук, преступлений, безрадостных грез

На колесах вагона, на крыльях фрегата!

Но далек бесконечно наш рай благовонный,

Где не меркнут в лазури утехи любви,

Где наш дух, совершенством мечты умиленный,

Чистой страсти омоют живые струи!

Но далек бесконечно наш рай благовонный!

Рай зеленый, что полон ребяческих снов, —

Поцелуи, гирлянды, напевы, улыбки,

Опьяняющий вечер во мраке лесов,

За холмами, вдали трепетание скрипки —

Рай зеленый, что полон ребяческих снов!..

Рай невинности, царство мечты затаенной,

Неужели ты дальше от нас, чем Китай?

Жалкий крик не вернет этот рай благовонный,

Не вернут серебристые звуки наш рай,

Рай невинности, царство мечты затаенной!le français

LXIII

ВЫХОДЕЦ [68]

Падший дух с желтым блеском зрачков,

Я вернусь к ней в остывший альков,

И с толпою полночных теней

Я приникну невидимо к ней!

Я пошлю ей среди тишины

Поцелуи холодной луны

И, ласкаясь, царицу мою,

Как могилу — змея, обовью!

А лишь ночь свой поднимет покров,

Опустеет твой душный альков,

Будет веять в нем холод дневной.

Так не шепотом нежных речей

Я весной завладею твоей,

А ужасной, ужасной мечтой!le français

LXIV

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Твой взор мне говорит кристальной чистотой:

«О, чем твой странный вкус во мне пленяться может?»

— Люби, безмолвствуя! Мне сердце все тревожит;

Пленен я древнею, животной простотой.

Тебе, чья ласка снов сзывает длинный строй,

Ни тайну адскую, что вечно душу гложет,

Ни сказку черную душа в ответ не сложит.

Я презираю страсть, кляну рассудок свой!

Люби бестрепетно! В засаде темной скрыта,

Уже сгибает Страсть неотразимый лук.

Мне памятна еще ее проклятий свита,

Старинный арсенал безумств, грехов и мук!

Как два осенние луча, мы вместе слиты,

Я с нежной белизной холодной Маргариты.le français

LXV

ПЕЧАЛЬ ЛУНЫ

Сегодня вечером, полна истомы нежной,

Луна не может спать; не так ли, в забытьи

Лаская контуры грудей рукой небрежной,

Томится девушка, тоскуя о любви.

Луна покоится среди лавин атласных,

Но, в долгий обморок меж них погружена,

Все бродит взорами в толпе теней неясных,

Чьих белых венчиков лазурь еще полна.

Когда ж на землю к нам с небес она уронит

Украдкою слезу, ее возьмет поэт

И на груди своей молитвенно схоронит

Опал, где радуги мерцает бледный свет;

Презрев покой и сон, он скроет, вдохновенный,

От Солнца жадного осколок драгоценный.le français

LXVI

КОШКИ

Чета любовников в часы живой беседы,

Задумчивый мудрец в дни строгого труда

Равно взлюбили вас: вы — тоже домоседы,

Вы также нежитесь и зябнете всегда!

И вы — друзья наук и наслаждений страстных;

Вас манит страшный мрак, вас нежит тишина;

Эреб [69]запряг бы вас в своих путях ужасных —

Но вам в удел рабов покорность не дана.

Перенимаете вы позы сфинксов длинных,

Недвижно грезящих среди песков пустынных,

Навек забывшихся в одном безбрежном сне.

Сноп искр магических у вас в спине пушистой;

В мистических зрачках, чуть искрясь в глубине,

Песчинок тонких рой играет золотистый.le français

LXVII

СОВЫ

Где тисы стелют мрак суровый,

Как идолы, за рядом ряд,

Вперяя в сумрак красный взгляд,

Сидят и размышляют совы.

Они недвижно будут так

Сидеть и ждать тот час унылый,

Когда восстанет с прежней силой

И солнце опрокинет мрак.

Их поза — мудрым указанье

Презреть движение навек:

Всегда потерпит наказанье

Влюбленный в тени человек,

Едва, исполненный смятений,

Он выступит на миг из тени!le français

LXVIII

ТРУБКА

Я — трубка старого поэта;

Мой кафрский, абиссинский вид,

Как любит он курить, про это

Без слов понятно говорит.

Утешить друга я желаю,

Когда тоска в его душе:

Как печь в убогом шалаше,

Что варит ужин, я пылаю,

Сплетаю голубую сеть,

Ртом дым и пламя источаю

И нежно дух его качаю;

Мне сладко сердце в нем согреть

И дух, измученный тоскою,

Вернуть к блаженству и покою.le français

LXIX

МУЗЫКА [70]

Порою музыка объемлет дух, как море:

                       О бледная звезда,

Под черной крышей туч, в эфирных бездн просторе,

                       К тебе я рвусь тогда;

И грудь и легкие крепчают в яром споре,

                       И, парус свой вия,

По бешеным хребтам померкнувшего моря

                       Взбирается ладья.

Трепещет грудь моя, полна безумной страстью,

И вихрь меня влечет над гибельною пастью,

                       Но вдруг затихнет все —

И вот над пропастью бездонной и зеркальной

Опять колеблет дух спокойный и печальный

                       Отчаянье свое!le français

LXX

ПОХОРОНЫ ОТВЕРЖЕННОГО ПОЭТА

Когда в давящей тьме ночей,

Христа заветы исполняя,

Твой прах под грудою камней

Зароет в грязь душа святая,

Лишь хор стыдливых звезд сомкнет

Отягощенные ресницы —

Паук тенета развернет

Среди щелей твоей гробницы,

Клубок змеенышей родить

Вползет змея, волк будет выть

Над головою нечестивой;

Твой гроб сберет ночных воров

И рой колдуний похотливый

С толпой развратных стариков.le français

LXXI

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ГРАВЮРА [71]

На оголенный лоб чудовища-скелета

Корона страшная, как в карнавал, надета;

На остове-коне он мчится, горяча

Коня свирепого без шпор и без бича,

Растет, весь бешеной обрызганный слюною,

Апокалипсиса виденьем предо мною;

Вот он проносится в пространствах без конца;

Безбрежность попрана пятою мертвеца,

И молнией меча скелет грозит сердито

Толпам, поверженным у конского копыта;

Как принц, обшаривший чертог со всех сторон,

Скача по кладбищу, несется мимо он;

А вкруг — безбрежные и сумрачные своды,

Где спят все древние, все новые народы.le français

LXXII

ВЕСЕЛЫЙ МЕРТВЕЦ

Я вырою себе глубокий, черный ров,

Чтоб в недра тучные и полные улиток

Упасть, на дне стихий найти последний кров

И кости простереть, изнывшие от пыток.

Я ни одной слезы у мира не просил,

Я проклял кладбища, отвергнул завещанья;

И сам я воронов на тризну пригласил,

Чтоб остов смрадный им предать на растерзанье.

О вы, безглазые, безухие друзья,

О черви! К вам пришел мертвец веселый, я;

О вы, философы, сыны земного тленья!

Ползите ж сквозь меня без муки сожаленья;

Иль пытки новые возможны для того,

Кто — труп меж трупами, в ком все давно мертво?le français

LXXIII

БОЧКА НЕНАВИСТИ

О злая Ненависть, ты — бочка Данаид [72],

Куда могучими и красными руками

Без счета ведрами всечасно Месть спешит

Влить кровь и реки слез, пролитых мертвецами;

Но тайно Демоном проделана дыра,

Откуда льются кровь и пот тысячелетий,

И вновь живут тела, истлевшие вчера,

И расточают вновь их кровь твои же плети.

Ты — горький пьяница под кровлей кабака,

Чья жажда лишь растет от каждого глотка

И множит головы свои, как гидра Лерны [73].

— Но счастлив пьяница, его сразит вино.

Тебе же, Ненависть, о горе, не дано

Забыться под столом в углу глухой таверны.le français

LXXIV

РАЗБИТЫЙ КОЛОКОЛ

Как в ночи зимние и горько и отрадно

В огонь мигающий впереть усталый взгляд,

Колоколов трезвон сквозь мглу внимая жадно,

Забытых призраков будя далекий ряд.

Блажен ты, колокол, когда гортанью грозной

И неслабеющей сквозь сумрак и туман

Далеко разнесен твой крик религиозный,

Когда ты бодрствуешь, как добрый ветеран!

И ты, мой дух, разбит; когда ж, изныв от скуки,

Ты в холод сумрака пошлешь ночные звуки,

Вдруг зычный голос твой слабеет, изменив;

Так в груде мертвых тел повергнутый в сраженьи,

Хрипя, бросает нам отчаянный призыв,

Не в силах двинуться в безмерном напряженьи.le français

LXXV

СПЛИН

Вот всякой жизни враг заклятый, Плювиоз [74]

На бледных жителей кладбища холод черный

Из урны щедро льет, и вот волной тлетворной

Уничтожение в предместьях разлилось.

Неугомонный кот, весь тощий, шелудивый,

К подстилке тянется; под кровлей чердака

Поэта бродит дух забытый, сиротливый:

Как зыбкой тени плач, тиха его тоска.

Рыдает колокол, дымящие поленья

Часам простуженным чуть вторят фистулой [75];

Весь день за картами, где слышен запах тленья —

Наследье жалкое давнишней водяной —

Валет и дама пик с тоскою сожаленья

О мертвой их любви болтают меж собой.le français

LXXVI

СПЛИН

Душа, тобою жизнь столетий прожита!

Огромный шкаф, где спят забытые счета,

Где склад старинных дел, романсов позабытых,

Записок и кудрей, расписками обвитых,

Скрывает меньше тайн, чем дух печальный мой.

Он — пирамида, склеп бездонный, полный тьмой,

Он больше трупов скрыл, чем братская могила.

Я — кладбище, чей сон луна давно забыла,

Где черви длинные, как угрызений клуб,

Влачатся, чтоб точить любезный сердцу труп;

Я — старый будуар, весь полный роз поблеклых

И позабытых мод, где в запыленных стеклах

Пастели грустные и бледные Буше

Впивают аромат… И вот в моей душе

Бредут хромые дни неверными шагами,

И, вся оснежена погибших лет клоками,

Тоска, унынья плод, тираня скорбный дух,

Размеры страшные бессмертья примет вдруг.

Кусок материи живой, ты будешь вечно

Гранитом меж валов пучины бесконечной,

Вкушающим в песках Сахары мертвый сон!

Ты, как забытый сфинкс, на карты не внесен, —

Чья грудь свирепая, страшась тепла и света,

Лишь меркнущим лучам возносит гимн привета!le français

LXXVII

СПЛИН

Я — сумрачный король страны всегда дождливой,

Бессильный юноша и старец прозорливый,

Давно презревший лесть советников своих,

Скучающий меж псов, как меж зверей иных;

Ни сокол лучший мой, ни гул предсмертных стонов

Народа, павшего в виду моих балконов,

Ни песнь забавная любимого шута

Не прояснят чело, не разомкнут уста;

Моя постель в гербах цветет, как холм могильный;

Толпы изысканных придворных дам бессильны

Изобрести такой бесстыдный туалет,

Чтоб улыбнулся им бесчувственный скелет;

Добывший золото, Алхимик мой ни разу

Не мог исторгнуть прочь проклятую заразу;

Кровавых римских ванн целительный бальзам,

Желанный издавна дряхлеющим царям,

Не может отогреть холодного скелета,

Где льется медленно струей зеленой Лета.le français

LXXVIII

СПЛИН

Когда небесный свод, как низкий склеп, сжимает

Мой дух стенающий и, мир обвив кольцом,

На землю черный день угрюмо проливает

Суровый горизонт, нависнувший свинцом;

Когда весь этот мир — одна тюрьма сырая,

Где, словно нетопырь, во мгле чертя излом,

Надежда носится, пугливо ударяя

В подгнивший потолок мятущимся крылом;

Когда, как бы пруты решетки бесконечной,

Свинцовые струи дождя туманят взор

И стаи пауков в жестокости беспечной

Ткут у меня в мозгу проклятый свой узор:

Вдруг грянет зычный хор колоколов огромных,

И страшен бешеный размах колоколов:

То — сонмы грешных душ, погибших и бездомных

Возносят до небес неукротимый рев.

Тогда без музыки, как траурные дроги,

Безмолвно шествуют Надежды в вечный мрак,

И призрак Ужаса, и царственный и строгий,

Склонясь на череп мой, колеблет черный стяг.le français

LXXIX

НЕОТВЯЗНОЕ

Леса дремучие, вы мрачны, как соборы,

Печален, как орган, ваш грозный вопль и шум

В сердцах отверженных, где вечен траур дум,

Как эхо хриплое, чуть внятны ваши хоры.

Проклятый океан! В безбрежной глубине

Мой дух нашел в себе твоих валов скаканье;

Твой хохот яростный и горькое рыданье

Мой смех, мой скорбный вопль напоминают мне.

Я был бы твой, о Ночь! Но в сердце льет волненье

Твоих созвездий свет, как прежде, с высоты, —

А я ищу лишь тьмы, я жажду пустоты!

Но тьма — лишь холст пустой, где, полный умиленья,

Я узнаю давно погибшие виденья —

Их взгляды нежные, их милые черты!le français

LXXX

ЖАЖДА НЕБЫТИЯ

О скорбный, мрачный дух, что вскормлен был борьбой,

Язвимый шпорами Надежды, бурный, властный,

Бессильный без нее! Пади во мрак ненастный,

Ты, лошадь старая с хромающей ногой.

Смирись же, дряхлый дух, и спи, как зверь лесной!

Как старый мародер, ты бродишь безучастно!

Ты не зовешь любви, как не стремишься в бой;

Прощайте, радости! Ты полон злобной тьмой!

Прощайте, флейты вздох и меди гром согласный!

Уж над тобой Весны бессилен запах страстный!

Как труп, захваченный лавиной снеговой,

Я в бездну Времени спускаюсь ежечасно;

В своей округлости весь мир мне виден ясно,

Но я не в нем ищу приют последний свой!

Обвал, рази меня и увлеки с собой!le français

LXXXI

АЛХИМИЯ ГОРЯ

Чужим огнем озарена,

Чужих печалей отраженье,

Природа, ты одним дана

Как жизнь, другим — как погребенье!

Ты мой Гермес, мой вечный сон;

В Мидаса [76]я твоею силой

Непостижимо превращен,

Как он, алхимик я унылый;

Тобою зачарован, взгляд

В железо злато превращает

И рай лучистый — в черный ад;

Он саркофаги воздвигает

Среди небесных берегов,

Он видит труп меж облаков.le français

LXXXII

МАНЯЩИЙ УЖАС

«Какие помыслы гурьбой

Со свода бледного сползают,

Чем дух мятежный твой питают

В твоей груди, давно пустой?»

— Ненасытимый разум мой

Давно лишь мрак благословляет;

Он, как Овидий, не стенает, [77]

Утратив рай латинский свой!

Ты, свод торжественный и строгий,

Разорванный, как брег морской,

Где, словно траурные дроги,

Влачится туч зловещий строй,

И ты, зарница, отблеск Ада, —

Одни душе пустой отрада!le français

LXXXIII

САМОБИЧЕВАНИЕ [78]

К Ж.Ж.Ф.

Я поражу тебя без злобы,

Как Моисей твердыню скал, [79]

Чтоб ты могла рыдать и чтобы

Опять страданий ток сверкал,

Чтоб он поил пески Сахары

Соленой влагой горьких слез,

Чтоб все мечты, желанья, чары

Их бурный ток с собой унес

В простор безбрежный океана;

Чтоб скорбь на сердце улеглась,

Чтоб в нем, как грохот барабана,

Твоя печаль отозвалась.

Я был фальшивою струной,

С небес симфонией неслитной;

Насмешкой злобы ненасытной

Истерзан дух погибший мой.

Она с моим слилася стоном,

Вмешалась в кровь, как черный яд;

Во мне, как в зеркале бездонном,

Мегеры отразился взгляд!

Я — нож, проливший кровь, и рана,

Удар в лицо и боль щеки,

Орудье пытки, тел куски;

Я — жертвы стон и смех тирана!

Отвергнут всеми навсегда,

Я стал души своей вампиром,

Всегда смеясь над целым миром,

Не улыбаясь никогда!le français

LXXXIV

НЕИСЦЕЛИМОЕ

I

Идея, Форма, Существо,

Слетев с лазури к жизни новой,

Вдруг упадают в Стикс свинцовый,

Где все и слепо и мертво:

Вот Ангел, как пловец наивный,

В уродстве ищет новых чар,

Борясь с волною непрерывной,

Нырнув в чудовищный кошмар;

Пред ним встает во мгле унылой

Кружащийся водоворот;

Взметнувшись с бешеною силой,

Он, как безумных хор, ревет.

Вот, околдован чарой властной,

Блуждает путник наугад,

Но тщетно ловит луч неясный

В аду, где к гаду липнет гад;

Сходя без лампы в мрак бездонный

Вниз по ступенькам без перил,

В сырую бездну осужденный

Свой взор трепещущий вперил;

Под ним — чудовищ скользких стая;

Вокруг от блеска их зрачков

Еще чернее ночь густая,

Невыносимей гнет оков.

Корабль на полюсе далеком,

Со всей вселенной разлучен,

В тюрьме кристальной заключен

И увлечен незримым током.

Пускай же в них прочтут сердца

Неисцелимого эмблемы:

Лишь Дьявол, где бессильны все мы,

Все довершает до конца!

II

То дух, своим зерцалом ставший,

Колодезь Правды, навсегда

И свет и сумрак сочетавший,

И где кровавится звезда,

То — полный чары светоч ада,

Маяк в мирах, где властна мгла,

Покой, и слава, и отрада —

Восторг сознанья в бездне зла!le français

LXXXV

ЧАСЫ [80]

Часы! Угрюмый бог, ужасный и бесстрастный,

Что шепчет: «Вспомни все!» — и нам перстом грозит,

И вот, как стрелы — цель, рой Горестей пронзит

Дрожащим острием своим тебя, несчастный!

Как в глубину кулис — волшебное виденье,

Вдруг Радость светлая умчится вдаль, и вот

За мигом новый миг безжалостно пожрет

Все данные тебе судьбою наслажденья!

Три тысячи шестьсот секунд, все ежечасно:

«Все вспомни!» — шепчут мне, как насекомых рой;

Вдруг Настоящее жужжит передо мной:

«Я — прошлое твое; я жизнь сосу, несчастный!»

Все языки теперь гремят в моей гортани:

«Remember, esto memor» [81], — говорят;

О, бойся пропустить минут летящих ряд,

С них не собрав, как с руд, всей золотой их дани!

О, вспомни: с Временем тягаться бесполезно;

Оно — играющий без промаха игрок.

Ночная тень растет, и убывает срок;

В часах иссяк песок, и вечно алчет бездна.

Вот, вот — ударит час, когда воскликнут грозно

Тобой презренная супруга, Чистота,

Рок и Раскаянье (последняя мечта!):

«Погибни, жалкий трус! О, поздно, слишком поздно!»:le français

КАРТИНЫ ПАРИЖА [82]

LXXXVI

ПЕЙЗАЖ

О, если б мог и я, чтоб петь свои эклоги,

Спать ближе к небесам, как спали астрологи;

У колоколен жить, чтоб сердцем, полным снов,

Впивать торжественный трезвон колоколов;

Иль, подпершись рукой, с мансарды одинокой

Жизнь мастерской следить и слушать гул далекий,

И созерцать церквей и труб недвижный лес, —

Мечтать о вечности, взирая в глубь небес.

Как сладко сердцу там, в туманной пелене,

Ждать первую звезду и лампу на окне,

Следить, как черный дым плывет в простор клубами,

Как бледная луна чарует мир лучами.

Я жажду осени и лета и весны.

Когда ж придет зима спугнуть уныньем сны,

Задернув шторами скорее мрак холодный,

Я чудные дворцы создам мечтой свободной;

Увижу голубой, широкий кругозор,

Сады, фонтанов плач, причудливый узор

Бассейнов; резвых птиц услышу щебетанье

И нежных, жарких уст согласное слиянье…

Опять идиллию мне греза воскресит;

Пусть вьюга яростно в мое окно стучит,

Не подниму чела, охвачен сладкой страстью —

Опять вернуть к себе Весну своею властью,

Из сердца жаркого луч солнца источить

И ласку теплую мечты кругом разлить.le français

LXXXVII

СОЛНЦЕ

В предместье, где висит на окнах ставней ряд,

Прикрыв таинственно-заманчивый разврат,

Лишь солнце высыплет безжалостные стрелы

На крыши города, поля, на колос зрелый —

Бреду, свободу дав причудливым мечтам,

И рифмы стройные срываю здесь и там;

То, как скользящею ногой на мостовую,

Наткнувшись на слова, сложу строфу иную.

О свет питательный, ты гонишь прочь хлороз,

Ты рифмы пышные растишь, как купы роз,

Ты испарить спешишь тоску в просторы свода,

Наполнить головы и ульи соком меда;

Ты молодишь калек разбитых, без конца

Сердца их радуя, как девушек сердца;

Все нивы пышные тобой, о Солнце, зреют,

Твои лучи в сердцах бессмертных всходы греют.

Ты, Солнце, как поэт нисходишь в города,

Чтоб вещи низкие очистить навсегда;

Бесшумно ты себе везде найдешь дорогу —

К больнице сумрачной и к царскому чертогу!le français

LXXXVIII

РЫЖЕЙ НИЩЕНКЕ [83]

Белая девушка с рыжей головкой,

Ты сквозь лохмотья лукавой уловкой

Всем обнажаешь свою нищету

                 И красоту.

Тело веснушками всюду покрыто,

Но для поэта с душою разбитой,

Полное всяких недугов, оно

                 Чары полно!

Носишь ты, блеск презирая мишурный,

Словно царица из сказки — котурны,

Два деревянных своих башмака,

                 Стройно-легка.

Если бы мог на тебе увидать я

Вместо лохмотьев — придворного платья

Складки, облекшие, словно струи,

                 Ножки твои;

Если бы там, где чулочек дырявый

Щеголей праздных сбирает оравы,

Золотом ножку украсил и сжал

                 Тонкий кинжал;

Если 6, узлам непослушны неровным,

Вдруг обнажившись пред взором греховным,

Полные груди блеснули хоть раз

                 Парою глаз;

Если б просить ты заставить умела

Всех, кто к тебе прикасается смело,

Прочь отгоняя бесстрашно вокруг

                 Шалость их рук:

Много жемчужин, камней драгоценных,

Много сонетов Бело [84]совершенных

Стали б тебе предлагать без конца

                 Верных сердца;

Штат рифмачей с кипой новых творений

Стал бы тесниться у пышных ступеней,

Дерзко ловил бы их страстный зрачок

                 Твой башмачок;

Вкруг бы теснились пажи и сеньоры,

Много Ронсаров [85]вперяли бы взоры,

Жадно ища вдохновения, в твой

                 Пышный покой!

Чары б роскошного ложа таили

Больше горячих лобзаний, чем лилий,

И не один Валуа [86]в твою власть

                 Мог бы попасть!

Ныне ж ты нищенкой бродишь голодной,

Хлам собирая давно уж негодный,

На перекрестках, продрогшая вся,

                 Робко прося;

На безделушки в четыре сантима

Смотришь ты с завистью, шествуя мимо,

Но не могу я тебе, о прости!

                 Их поднести!

Что же? Пускай без иных украшений,

Без ароматов иных и камений

Тощая блещет твоя нагота,

                 О красота!le français

LXXXIX

ЛЕБЕДЬ [87]

Виктору Гюго

I

Я о тебе одной мечтаю, Андромаха [88],

Бродя задумчиво по новой Карусель [89],

Где скудный ручеек, иссякший в груде праха,

Вновь оживил мечту, бесплодную досель.

О, лживый Симоис [90], как зеркало живое

Ты прежде отражал в себе печаль вдовы.

Где старый мой Париж!.. Трудней забыть былое,

Чем внешность города пересоздать! Увы!..

Я созерцаю вновь кругом ряды бараков,

Обломки ветхие распавшихся колонн,

В воде зацветших луж ищу я тленья знаков,

Смотрю на старый хлам в витринах у окон.

Здесь прежде, помнится, зверинец был построен;

Здесь, помню, видел я среди холодной мглы,

Когда проснулся Труд, и воздух был спокоен,

Но пыли целый смерч взвивался от метлы,

Больного лебедя; он вырвался из клетки

И, тщетно лапами сухую пыль скребя

И по сухим буграм свой пух роняя редкий,

Искал, раскрывши клюв, иссохшего ручья.

В пыли давно уже пустого водоема

Купая трепет крыл, все сердце истомив

Мечтой об озере, он ждал дождя и грома,

Возникнув предо мной, как странно-вещий миф.

Как муж Овидия [91], в небесные просторы

Он поднял голову и шею, сколько мог,

И в небо слал свои бессильные укоры —

Но был небесный свод насмешлив, нем и строг.

II

Париж меняется — но неизменно горе;

Фасады новые, помосты и леса,

Предместья старые — все полно аллегорий

Для духа, что мечтам о прошлом отдался.

Воспоминания, вы тяжелей, чем скалы;

Близ Лувра грезится мне призрак дорогой,

Я вижу лебедя: безумный и усталый,

Он предан весь мечте, великий и смешной.

Я о тебе тогда мечтаю, Андромаха!

Супруга, Гектора предавшая, увы!

Склонясь над урною, где нет святого праха,

Ты на челе своем хранишь печаль вдовы;

— О негритянке той, чьи ноги тощи, босы:

Слабеет вздох в ее чахоточной груди,

И гордой Африки ей грезятся кокосы,

Но лишь туман встает стеною впереди;

— О всех, кто жар души растратил безвозвратно,

Кто захлебнуться рад, глотая слез поток,

Кто волчью грудь Тоски готов сосать развратно,

О всех, кто сир и гол, кто вянет, как цветок!

В лесу изгнания брожу, в тоске упорный,

И вас, забытые среди пустыни вод,

Вас, павших, пленников, как долгий зов валторны,

Воспоминание погибшее зовет.le français

XC

СЕМЬ СТАРИКОВ [92]

Виктору Гюго

О город, где плывут кишащих снов потоки,

Где сонмы призраков снуют при свете дня,

Где тайны страшные везде текут, как соки

Каналов городских, пугая и дразня!

Я шел в час утренний по улице унылой,

Вкруг удлинял туман фасадов высоту,

Как берега реки, возросшей с страшной силой;

Как украшение, приличное шуту,

Он грязно-желтой все закутал пеленою;

Я брел, в беседу сам с собою погружен,

Подобный павшему, усталому герою;

И громыхал вдали по мостовой фургон.

Вдруг вырос предо мной старик, смешно одетый

В лохмотья желтые, как в клочья облаков,

Простого нищего имея все приметы;

Горело бешенство в огне его зрачков;

Таким явился он неведомо откуда,

Со взором, режущим, как инея игла,

И борода его, как борода Иуды,

Внизу рапирою заострена была.

С ногами дряблыми прямым углом сходился

Его хребет; он был не сгорблен, а разбит;

На палку опершись, он мимо волочился,

Как зверь подшибленный или трехногий жид.

Он, спотыкаясь, брел неверными шагами

И, ковыляя, грязь и мокрый снег месил,

Ярясь на целый мир; казалось, сапогами

Он трупы сгнившие давил что было сил.

За ним — его двойник, с такой же желчью взгляда,

С такой же палкою и сломанной спиной:

Два странных призрака из общей бездны ада,

Как будто близнецы, явились предо мной.

Что за позорная и страшная атака?

Какой игрой Судьбы я схвачен был в тот миг?

Я до семи дочел душою, полной мрака:

Семь раз проследовал нахмуренный старик.

Ты улыбаешься над ужасом тревоги,

Тебя сочувствие и трепет не томит;

Но верь, все эти семь едва влачивших ноги,

Семь гнусных призраков являли вечный вид!

Упал бы замертво я, увидав восьмого,

Чей взор насмешливый и облик были б те ж!

Злой Феникс [93], канувший, чтоб вдруг возникнуть снова,

Я стал к тебе спиной, о дьявольский кортеж!

С душой, смятенною под властью раздвоенья,

Как жалкий пьяница, от страха чуть дыша,

Я поспешил домой; томили мозг виденья,

Нелепой тайною смущалася душа.

Мой потрясенный дух искал напрасно мели;

Его, шутя, увлек свирепый ураган,

Как ветхую ладью, кружа в пылу похмелий,

И бросил, изломав, в безбрежный океан.le français

XCI

МАЛЕНЬКИЕ СТАРУШКИ

Виктору Гюго

I

В кривых извилинах старинных городов,

Где даже ужасы полны очарованья,

По воле рока я следить весь день готов

За вами, странные, но милые созданья!

Калеки жалкие с горбатою спиной,

Ужель, чудовища, вы женщинами были,

Звались Лаисами [94]? Так что ж, — под наготой

Живую душу вы и ныне сохранили…

Меж омнибусами, средь шума, темноты

Ползете вы, к груди, как мощи, прижимая

Сумы, где ребусы нашиты и цветы;

И ветер вас знобит, лохмотья продувая.

Как марионеток ряд, труси́те вы рысцой;

То зверем раненым вприпрыжку прочь бежите,

То сразу, нехотя танцуя, задрожите,

Как колокольчики под Дьявола рукой.

У вас глаза — бурав; сквозь мрак ночной, ненастный,

Как лужи с сонною водой, они блестят;

То — как глаза детей, божественно-прекрасны,

Где каждый легкий блеск чарует нежный взгляд.

Я знаю, — гробики старух бывают малы,

Как гробики детей. Смерть, сумрачный мудрец,

В том сходстве символ нам открыла небывалый,

Равно заманчивый для всех больных сердец.

Когда передо мной, бывало, тень больная

На людной улице Парижа проскользнет,

Я горько думаю, что колыбель иная

Бедняжку дряхлую на дне могилы ждет.

Тогда при виде их мой ум изобретает

Геометрически построенный расчет,

Как много гробовщик различных форм сменяет,

Пока все части гроб в одно не соберет.

Глаза, где слез ручьи колодези прорыли,

Где, словно в тигеле, застыв, блестит металл!..

Но тот, чью грудь одни несчастия вскормили,

Непобедимую в вас прелесть прочитал!

II

Весталка древнего Фраската [95]или жрица

Воздушной Талии, чье имя знал суфлер,

Ты, что среди похвал умела позабыться

И цветом Тиволи [96]считалась с давних пор!

Вы упивались все… Есть между вас иные,

Что, горе полюбив как самый сладкий мед,

Сказали, все презрев: «Пусть в небеса родные

На крыльях подвига нас Гипогриф снесет!»

Одна за родину любезную страдала;

Та мужем без вины истерзана была;

А та Мадонною, мечом пронзенной, стала…

Из ваших слез река составиться б могла!

III

Мне помнится одна из них… Она садилась

Поодаль на скамью в тот час, когда вдали

Все небо язвами багровыми светилось

И солнца красный диск склонялся до земли.

Вдали гремел оркестр — и волны звуков медных

Вкруг затопляли сад, а вечер золотой

В нас зажигал сердца под рокот труб победных

Какой-то смутною и гордою мечтой.

Еще не сгорбившись, с осанкой гордой, чинной

Она впивала гром торжественных литавр,

Далёко в забытьи вперяя взор орлиный,

С челом из мрамора, что мог венчать лишь лавр!

IV

Куда по хаосу столиц плететесь вы,

Грустя безропотно, страдалицы святые,

И те, чьи имена лелеял шум молвы,

И те, чью грудь давно разбили бури злые?

Но ваши дни прошли; забыты без следа,

Кто грацией пленял и был венчаем славой;

Вас оскорбить готов насмешник без стыда,

Мальчишки злые вас преследуют оравой!

С согбенною спиной плететесь вы, стыдясь;

Вам не шепнет никто теперь привет сердечный!

О вы, развалины, повергнутые в грязь,

Уже созревшие для жизни бесконечной!

С заботой нежною я издали люблю

За вами следовать, как спутник ваш случайный;

Я, как родной отец, ваш каждый шаг ловлю,

Я созерцаю вас, восторг впивая тайный!

Паденья первые мой воскрешает взор,

Погибших дней и блеск и тьму я вижу снова;

Душа полна лучей великого былого,

Переживая вновь страстей былых позор.

О души дряхлые, моей душе родные,

Шлю каждый вечер вам торжественный привет…

О Евы жалкие восьмидесяти лет!..

Над вами длань Творца и когти роковые!le français

XCII

СЛЕПЦЫ

Душа, смотри на них; они ужасны… Да!

Как манекен, смешны, сомнамбулы страшнее,

Но тем в безвестный мрак вонзаются сильнее

Зрачки, где луч небес померкнул навсегда;

Их очи смотрят вдаль, глава их ввысь поднята;

Они не клонятся над шаткой мостовой

Отягощенною раздумьем головой;

Безмолвие и мрак, как два ужасных брата,

Нигде не ведая начала и конца,

Зияют на пути безумного слепца;

Когда же заревет пред ними город шумный, —

Восторг мучительный и жгучий затая,

Несчастный, как слепцы, слепцам бросаю я:

«Что ищет в небесах, слепцы, ваш взор безумный?»le français

XCIII

ПРОХОЖЕЙ

Ревела улица, гремя со всех сторон.

В глубоком трауре, стан тонкий изгибая,

Вдруг мимо женщина прошла, едва качая

Рукою пышною край платья и фестон,

С осанкой гордою, с ногами древних статуй…

Безумно скорчившись, я пил в ее зрачках,

Как бурю грозную в багровых облаках,

Блаженство дивных чар, желаний яд проклятый!

Блистанье молнии… и снова мрак ночной!

Взор Красоты, на миг мелькнувшей мне случайно!

Быть может, в вечности мы свидимся с тобой;

Быть может, никогда! и вот осталось тайной,

Куда исчезла ты в безмолвье темноты.

Тебя любил бы я — и это знала ты!le français

XCIV

СКЕЛЕТЫ-ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

I

На грязных набережных, средь пыльных

Анатомических таблиц,

Средь книг, как мумии гробниц,

Истлевших в сумерках могильных,

Я зачарован был не раз

Одной печальною картиной:

В ней кисти грубой и старинной

Штрихи приковывали глаз;

Нездешним ужасом объятый,

Я видел там скелетов ряд:

Они над пашнею стоят,

Ногами упершись в лопаты.

II

Трудясь над пашнею иной,

Вы, жалкая добыча тленья,

Все так же полны напряженья

Своей ободранной спиной?

Как к тачке каторжние цепями,

Там пригвожденные давно,

Скажите мне, кому гумно

Вы устилаете снопами?

Возникнул ваш истлевший строй

Эмблемой ужаса пред нами;

Иль даже там, в могильной яме

Не тверд обещанный покой?

Иль даже царство смерти лжет,

Небытие — непостоянно,

И тот же жребий окаянный

И в самой вечности нас ждет,

И мы, над тяжкою лопатой

Согбенные, в стране иной

Окровавленною ногой

Придавим заступ свой проклятый?le français

XCV

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер пленительный, друг преступленья,

К нам крадется волчьей, коварной стопой;

Задернут небесный альков над толпой,

И в каждом, как в звере, горит исступленье.

О вечер, тебя с тайной радостью ждал,

Кто потные руки весь день натруждал,

Кто с тихим забвеньем склонится к покою,

Снедаемый жгучей, безумной тоскою,

Кто никнет над книгой с тяжелым челом,

Кто ищет постели, разбитый трудом!

Вот демоны, полные вечной заботы,

Проснулись, очнулись от тяжкой дремоты;

Несутся — и в крыши и в ставни стучат;

Ночные огни зажигает Разврат,

Колышет и гасит их ветер свирепый;

Вот двери свои раскрывают вертепы,

Живой муравейник, волнуясь, кишит

И путь проложить себе тайный спешит;

Копошится, бьется на улицах грязных,

Свиваясь, как клубы червей безобразных.

Чу — слышится кухонь шипенье вокруг;

Хрипящий со сцены доносится звук;

Притоны, что манят азартной игрою,

Заполнены жадной, развратной толпою;

Там моты, кокотки и воры сошлись

И дружно за промысел гнусный взялись;

Взломали рукою искусною воры

У кассы замки и дверные затворы;

Все прожито нынче, что взято вчера.

О сердце, забыться настала пора!

Оглохни же, слушая эти рыканья!

Но к ночи язвительней горечь страданья,

Больных сумрак ночи за горло берет,

Пасть в общую бездну пришел их черед;

Больницы наполнены звуками стона;

Напрасно… над чашкой душистой бульона

Не встретить вам ту, что душе дорога;

Вам чужды и сладость и свет очага!..le français

XCVI

ИГРА

На креслах выцветших они сидят кругом,

Кокотки старые с поддельными бровями,

Лениво поводя насмешливым зрачком,

Бряцая длинными, блестящими серьгами;

К сукну зеленому приближен длинный ряд

Беззубых челюстей и ртов, подобных ранам;

Их руки адскою горячкою горят,

Трепещут на груди и тянутся к карманам;

С плафона грязного лучи обильно льет

Ряд люстр мерцающих, чудовищных кинкетов

На хмурое чело прославленных поэтов,

Сюда собравшихся пролить кровавый пот.

В ночных виденьях сна я был картиной черной,

Как ясновидящий, нежданно поражен;

На локоть опершись, в молчанье погружен,

Я сам сидел в углу бесчувственный, упорный,

И я завидовал, клянусь, толпе блудниц,

Что, страстью схвачена, безумно ликовала,

Погибшей красотой и честью торговала

И страшной радости не ведала границ.

Но ужаснулся я и, завистью пылая,

Смотрел, как свора их, впивая кровь свою,

Стремится к пропасти зияющей, желая

И муки предпочесть и ад — небытию!le français

XCVII

ПЛЯСКА СМЕРТИ [97]

Эрнесту Кристофу

С осанкой важною, как некогда живая,

С платком, перчатками, держа в руке букет,

Кокетка тощая, красоты укрывая,

Она развязностью своей прельщает свет.

Ты тоньше талию встречал ли в вихре бала?

Одежды царственной волна со всех сторон

На ноги тощие торжественно ниспала,

На башмачке расцвел причудливый помпон.

Как трется ручеек о скалы похотливо,

Вокруг ее ключиц живая кисея

Шуршит и движется, от шуток злых стыдливо

Могильных прелестей приманки утая.

Глаза бездонные чернеют пустотою,

И череп зыблется на хрупких позвонках,

В гирлянды убранный искусною рукою;

О блеск ничтожества, пустой, нарядный прах!

Карикатурою тебя зовет за это

Непосвященный ум, что, плотью опьянен,

Не в силах оценить изящество скелета —

Но мой тончайший вкус тобой, скелет, пленен!

Ты здесь затем, чтоб вдруг ужасная гримаса

Смутила жизни пир? иль вновь живой скелет,

Лишь ты, как некогда, надеждам отдалася,

На шабаш повлекли желанья прежних лет?

Под тихий плач смычка, при ярком свеч дрожаньи

Ты хочешь отогнать насмешливый кошмар,

Потоком оргии залить свои страданья

И погасить в груди зажженный адом жар?

Неисчерпаемый колодезь заблуждений!

Пучина горестей без грани и без дна!

Сквозь сеть костей твоих и в вихре опьянений

Ненасытимая змея глазам видна!

Узнай же истину: нигде твое кокетство

Достойно оценить не сможет смертный взгляд;

Казнить насмешкою сердца — смешное средство,

И чары ужаса лишь сильных опьянят!

Ты пеной бешенства у всех омыла губы,

От бездны этих глаз мутится каждый взор,

Все тридцать два твои оскаленные зуба

Смеются над тобой, расчетливый танцор!

Меж тем, скажите, кто не обнимал скелета,

Кто не вкусил хоть раз могильного плода?

Что благовония, что роскошь туалета?

Душа брезгливая собою лишь горда.

О ты, безносая, смешная баядера [98]!

Вмешайся в их толпу, шепни им свой совет.

«Искусству пудриться, друзья, ведь есть же мера,

Пропахли смертью вы, как мускусом скелет!

Вы, денди лысые, седые Антинои [99],

Вы, трупы сгнившие, с которых сходит лак!

Весь мир качается под пляшущей пятою,

То — пляска Смерти вас несет в безвестный мрак!

От Сены набережных и до знойных стран Гангеса [100]

Бегут стада людей, бросая в небо стон,

А там — небесная разодрана завеса:

Труба Архангела глядит, как мушкетон.

Под каждым климатом, у каждой грани мира

Над человеческой ничтожною толпой

Всегда глумится Смерть, как благовонья мира,

В безумие людей вливая хохот свой!»le français

XCVIII

САМООБМАН

Когда ты небрежно и плавно ступаешь

В ритм звуков, разбитых о низкий плафон,

И стан гармонический тихо склоняешь,

Твой взор бесконечной тоской углублен;

Облитое волнами мертвого газа,

Пленительно бледное это чело,

Где пламя вечернее зорю зажгло,

Как взоры портрета, два грустные глаза;

Я знаю, забытые грезы твои

Возносятся царственно башней зубчатой,

И спелое сердце, как персик помятый,

Уж просит и поздней и мудрой любви.

Ты — плод ароматный, роскошный, осенний,

Надгробная урна, просящая слез,

Далеких оазисов запах весенний,

Иль ложе — иль просто корзина для роз?

Есть грустные очи без тайн и чудес:

Их взгляды чаруют, как блеск драгоценный

Оправы без камня, вид раки священной,

Пустой, как безбрежные своды небес.

Но сердце, что правды жестокой страшится,

Пленяется призрачно-лживой мечтой,

И в шутку пустую готово влюбиться,

И жаждет склониться пред маской простой!le français

XCIX

Средь шума города всегда передо мной

Наш домик беленький с уютной тишиной;

Разбитый алебастр Венеры и Помоны [101],

Слегка укрывшийся в тень рощицы зеленой,

И солнце гордое, едва померкнет свет,

С небес глядящее на длинный наш обед,

Как любопытное, внимательное око;

В окне разбитый сноп дрожащего потока;

На чистом пологе, на скатерти лучей

Живые отблески, как отсветы свечей.le français

C

Служанка верная с душою благородной!

Ты под ковром травы вкушаешь сон холодный;

Наш долг — снести тебе хоть маленький букет.

Усопших ждет в земле так много горьких бед;

Когда вздохнет Октябрь, деревья обрывая

И между мраморов уныло завывая, —

О, как завидуют тогда живым они, —

Их ложу теплому и ласкам простыни!

Их мысли черные грызут, их сон тревожа;

Никто с усопшими не разделяет ложа;

Скелеты мерзлые, объедки червяков

Лишь чуют мокрый снег и шествие веков;

Не посетит никто их тихие могилы,

Никто не уберет решетки их унылой.

Когда поют дрова в камине фистулой,

На кресле в сумерках с их смутной, серой мглой

Я находил тебя, сидевшую спокойно;

То с миной важною, заботливо-пристойной

Ты появлялась вдруг в сторонке, на ковре

Ночами синими в холодном Декабре;

Как мать вставала ты с своей постели снежной,

Чтоб взрослое дитя согреть заботой нежной,

И из пустых очей роняла капли слез…

Что мог бы я сказать тогда на твой вопрос?le français

CI

ТУМАНЫ И ДОЖДИ

И осень позднюю и грязную весну

Я воспевать люблю: они влекут ко сну

Больную грудь и мозг какой-то тайной силой,

Окутав саваном туманов и могилой.

Поля безбрежные, осенних бурь игра,

Всю ночь хрипящие под ветром флюгера

Дороже мне весны; о вас мой дух мечтает,

Он крылья ворона во мраке распластает.

Осыпан инея холодной пеленой,

Пронизан сладостью напевов погребальных,

Он любит созерцать, исполнен грез печальных,

Царица бледная, бесцветный сумрак твой!

Иль в ночь безлунную тоску тревоги тайной

Забыть в объятиях любви, всегда случайной!le français

CII

ПАРИЖСКИЙ СОН

Конст. Гюису [102]

I

Пейзаж чудовищно-картинный

Мой дух сегодня взволновал;

Клянусь, взор смертный ни единый

Доныне он не чаровал!

Мой сон исполнен был видений,

Неописуемых чудес;

В нем мир изменчивых растений

По прихоти мечты исчез;

Художник, в гений свой влюбленный,

Я прихотливо сочетал

В одной картине монотонной

Лишь воду, мрамор и металл;

Дворцы, ступени и аркады

В нем вознеслись, как Вавилон,

В нем низвергались ниц каскады

На золото со всех сторон;

Как тяжкий занавес хрустальный,

Омыв широких стен металл,

В нем ослепительно-кристальный

Строй водопадов ниспадал.

Там, как аллеи, колоннады

Тянулись вкруг немых озер,

Куда гигантские наяды

Свой женственный вперяли взор.

И берег розово-зеленый,

И голубая скатерть вод

До грани мира отдаленной

Простерлись, уходя вперед!

Сковав невиданные скалы,

Там полог мертвых льдов сверкал,

Исполнен силы небывалой,

Как глубь магических зеркал;

Там Ганги с высоты надзвездной,

Безмолвно восхищая взор,

Излили над алмазной бездной

Сокровища своих амфор!

Я — зодчий сказочного мира —

Тот океан порабощал

И море в арки из сафира

Упорством воли возвращал.

Вокруг все искрилось, блистало,

Переливался черный цвет,

И льды оправою кристалла

Удвоили свой пышный свет.

В дали небес не загорались

Ни луч светила, ни звезда,

Но странным блеском озарялись

Чудовищные горы льда!

А надо всем, огнем экстаза

Сжигая дух смятенный мой,

Витало, внятно лишь для глаза,

Молчанье Вечности самой!

II

Когда же вновь я стал собою,

Открыв еще пылавший взор,

Я схвачен был забот гурьбою,

Я видел вкруг один позор.

Как звон суровый, погребальный,

Нежданно полдень прозвучал;

Над косным миром свод печальный

Бесцветный сумрак источал.le français

CIII

СУМЕРКИ УТРА

Уж во дворе казарм труба задребезжала,

Уж пламя фонарей от ветра задрожало.

Вот час, когда ползет больных видений рой

В подушках юношей отравленной мечтой;

Когда, как красный глаз, от лампы свет багровый

Пятно кровавое на день бросает новый,

Когда ослабший дух, с себя свергая плоть,

Как лампы — день, ее не может побороть;

И словно милый лик, где ветер свеял слезы,

В дрожащем воздухе плывут ночные грезы;

Вот час, когда нет сил творить, любить, лобзать.

Над крышами домов уж начал дым всползать;

Но проститутки спят, тяжелым сном обвиты,

Их веки сомкнуты, их губы чуть раскрыты;

Уж жены бедняков на пальцы стали дуть,

Влача к огню свою иссохнувшую грудь;

Вот час, когда среди и голода и стужи

Тоска родильницы еще острей и туже;

И если закричит, пронзив туман, петух,

Его напев, как вопль, залитый кровью, глух.

Туманов океан омыл дома столицы,

Наполнив вздохами холодный мрак больницы,

Где внятнее теперь последний горький стон;

Кутила чуть бредет, работой утомлен.

В наряде розовом и призрачно-зеленом

Заря над Сеною с ее безлюдным лоном

Скользит медлительно, будя Париж, — и вот

Он инструменты вновь заботливо берет.le français

ВИНО

CIV

ДУША ВИНА

В бутылках в поздний час душа вина запела:

«В темнице из стекла меня сдавил сургуч,

Но песнь моя звучит и ввысь несется смело;

В ней обездоленным привет и теплый луч!

О, мне ль не знать того, как много капель пота

И света жгучего прольется на холмы,

Чтоб мне вдохнула жизнь тяжелая работа,

Чтоб я могла за все воздать из недр тюрьмы!

Мне веселей упасть, как в теплую могилу,

В гортань работника, разбитого трудом,

До срока юную растратившего силу,

Чем мерзнуть в погребе, как в склепе ледяном!

Чу — раздались опять воскресные припевы,

Надежда резвая щебечет вновь в груди,

Благослови ж и ты, бедняк, свои посевы

И, над столом склонясь, на локти припади;

В глазах твоей жены я загорюсь, играя,

У сына бледного зажгу огонь ланит,

И на борьбу с судьбой его струя живая,

Как благовония — атлета, вдохновит.

Я упаду в тебя амброзией священной;

Лишь Вечный Сеятель меня посеять мог,

Чтоб пламень творчества зажегся вдохновенный

И лепестки раскрыл божественный цветок!»le français

CV

ВИНО ТРЯПИЧНИКОВ

При свете красного, слепого фонаря,

Где пламя движется от ветра, чуть горя,

В предместье города, где в лабиринте сложном

Кишат толпы людей в предчувствии тревожном,

Тряпичник шествует, качая головой,

На стену, как поэт, путь направляя свой;

Пускай вокруг снуют в ночных тенях шпионы,

Он полон планами; он мудрые законы

Диктует царственно, он речи говорит;

Любовь к поверженным, гнев к сильным в нем горит:

Так под шатром небес он, радостный и бравый,

Проходит, упоен своей великой славой.

О вы, уставшие от горя и трудов,

Чьи спины сгорблены под бременем годов

И грудою тряпья, чья грудь в изнеможеньи —

О вы, огромного Парижа изверженье!

Куда лежит ваш путь? Вокруг — пары вина;

Их побелевшая в сраженьях седина,

Их пышные усы повисли, как знамены;

Им чудятся цветы, и арки, и колонны,

И крики радости, покрытые трубой,

И трепет солнечный, и барабанный бой,

Рев оглушительный и блеск слепящий оргий, —

В честь победителей народные восторги.

Так катит золото среди толпы людей

Вино, как сладостный Пактол [103], волной своей;

Вино, уста людей тебе возносят клики,

И ими правишь ты, как щедрые владыки.

Чтоб усыпить тоску, чтоб скуку утолить,

Чтоб в грудь отверженца луч радости пролить,

Бог создал сон; Вино ты, человек, прибавил

И сына Солнца в нем священного прославил!le français

CVI

ВИНО УБИЙЦЫ

Чтоб пить свободно, я убил

Свою жену: она, бывало,

Всю душу криком надрывала,

Коль без гроша я приходил.

Как воздух чист, как много света!

Я счастлив счастьем короля…

Когда с тобой сошелся я,

Такое же стояло лето!

Мне жажда грудь на части рвет;

Чтоб жажды той уменьшить силу,

Пускай вино ее могилу

До края самого зальет!

Я бросил труп на дно колодца

И груду целую камней,

Сломав забор, воздвиг над ней.

О, где же столько сил найдется!

Словами ласки и любви,

Во имя клятв неразрешимых

И счастья дней неизгладимых,

Мелькнувших в сладком забытьи,

Я сам назначил ей свиданье!

Она же в час вечерней тьмы

Пришла! — Безумное созданье!

Быть может, все безумны мы!

Она была еще красива,

Хоть вся давно изнемогла,

И я, любя ее ревниво,

Сказал: «Уйди из мира зла!»

Тоска мне сердце вечно гложет,

В толпе ж, что каждый миг пьяна,

Ее никто понять не может

И саван сделать из вина.

Она, как мертвые машины,

Без пытки, без огня в крови,

Клянусь — хотя б на миг единый

Не знала истинной любви

С ее очарованьем черным,

С кортежем дьявольским страстей,

С отравой, слез ручьем позорным

И стуком цепи и костей.

Вновь одинокий и свободный,

Я буду вновь мертвецки пьян;

Забуду боль сердечных ран,

Улягусь на земле холодной

И буду спать, как грязный пес.

Быть может, тормозом вагона

Иль острой шиною колес

Мне череп раздробит: без стона

Я встречу смерть; не все ль равно,

Когда над Богом, Сатаною

И Тайной Вечерей Святою

Я богохульствовал давно!le français

CVII

ВИНО ОТШЕЛЬНИКА

Ни взгляд прелестницы, изысканный и нежный,

Скользящий вкрадчиво, как белый луч луны,

На лоне озера родивший рябь волны,

Купающей в себе красу луны небрежной,

Ни тощий кошелек в кармане игрока,

Ни жадный поцелуй иссохшей Аделины,

Ни отзвук музыки, как дальний стон кручины,

Нас опьяняющий и сладкий, как тоска,

Нам не заменят твой пронзающий бальзам,

Бутылка; он, на дне глубоких недр сокрытый,

Льет в душу молодость, и жизнь, и гордость нам,

Спешит восстановить поэта дух разбитый…

Вино, хвала тебе! ты — гордость бедняков,

Ты превращаешь их в ликующих богов!le français

CVIII

ВИНО ЛЮБОВНИКОВ

Как сверкает небесный простор!

Без узды, без кнута и без шпор

Конь-вино мчит нас в царство чудес

В феерическом блеске небес!

Мы в кристальной дали голубой,

Как два Ангела, реем с тобой,

От горячки сгорая, летим,

Уловить дальний призрак хотим.

Чуть колышимы мягким крылом,

Увлекаемы вихрями грез,

Мы мечтаем, мы бредим вдвоем,

Чтобы вихрь нас в безбрежность унес,

Чтоб со мною достигла и ты

Заповедного рая мечты!le français

ЦВЕТЫ ЗЛА

CIX

РАЗРУШЕНЬЕ

Меня преследует Злой Дух со всех сторон;

Неосязаемо вокруг меня витая,

Нечистым пламенем мне грудь сжигает он;

Я им дышу, его вдыхая и глотая.

То, образ женственно-пленительный приняв,

Когда душа полна святого вдохновенья,

Весь — лицемерие средь мерзостных забав,

Мои уста сквернит напитком преступленья;

То истомленного от взоров Бога прочь

В пустыни мертвые, где скука, страх и ночь,

Уводит силою таинственной внушенья,

То вдруг насмешливо являет предо мной

Одежд нечистых кровь и ран разверстых гной,

И час кровавого готовит Разрушенья.le français

CX

МУЧЕНИЦА

КАРТИНА НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Где над флаконами нависли складки тканей,

Где платья пышные влачатся по земле,

Где кресел чувственных и строгих изваяний

Недвижен смутный строй в полупрозрачной мгле;

Где в душном воздухе искусственной теплицы

Подстерегает Смерть и дышит верный яд,

Где, заключенные в стеклянные гробницы,

Букеты льют, как вздох предсмертный, аромат —

Простерт безглавый труп: кровавою струею

Подушки напитав, как будто берега,

Он вспрыснул простыни багровою росою,

Как свежей влагою иссохшие луга.

Как сонмы в сумраке кишащих привидений,

Чья бледность странная приковывает взор,

Сверкая множеством роскошных украшений

На груде черных кос, закрученных в узор,

Немая голова, как лютик, возле ложа

Поставлена на стол, бессмысленно-мертва,

И смутно-беглый взгляд, как сумрак, грудь тревожа,

Случайно вырвавшись, горит едва-едва.

На ложе брошен труп, бесстыдно и небрежно

Раскрыв сокровища таинственных красот:

Природы пышный дар, чья прелесть неизбежно,

Как роковой закон, к погибели влечет.

Как память прошлого, ей ногу облекает

Расшитый золотом, чуть розовый чулок,

И в сумрак комнаты подвязка устремляет

Алмазный, острый взор, как вспыхнувший зрачок.

Все говорит: и труп, бесстыдно-одиноко

На ложе брошенный, затопленный в крови,

Портрета мрачного предательское око —

О черном призраке чудовищной любви,

О дикой оргии, когда при взрывах смеха

Огонь лобзания воспламеняет ад,

И им в ответ звучит сочувственное эхо

Тех падших ангелов, что в складках штор кружат.

Как тонки линии плеча, где дерзновенно

Отпечатлели след кровавые струи!

Как в чуткой талии красив изгиб мгновенно

Развившихся колец встревоженной змеи!

Как молода она!.. Душой опустошенной

Вся — скуки тягостным объятьям предана,

Порывам похоти и страсти исступленной,

Быть может, отдалась, безумствуя, она?

Иль нечестивец тот, в любви всегда упорной

Не истощив до дна ненасытимый пыл,

Ее холодный труп, недвижный и покорный,

Страстей безмерностью бесстыдно осквернил?

Скажи, нечистый труп, ужель своей рукою

Он эту голову за пряди кос поднял,

Ужель лобзания, не дрогнувши душою,

Губами жаркими с холодных губ собрал!

Вдали от шуток злых толпы и поруганья,

От любопытного и праздного судьи,

Вкушая вечный мир, спи, странное созданье,

В могиле роковой, в холодном забытьи!

Он обойдет весь мир, но всюду к изголовью

Приникнет образ твой, тревожа смутный сон,

И не изменит он тебе, такой любовью

С тобою, верная до гроба, обручен!le français

CXI

ОСУЖДЕННЫЕ

Как тварь дрожащая, прильнувшая к пескам,

Они вперяют взор туда, в просторы моря;

Неверны их шаги, их руки льнут к рукам

С истомой сладостной и робкой дрожью горя.

Одни еще зовут под говор ручейков

Видения, полны признанья слов стыдливых,

Любви ребяческой восторгов боязливых,

И ранят дерево зеленое кустов.

Те, как монахини, походкой величавой

Бредут среди холмов, где призрачной гурьбой

Все искушения плывут багровой лавой,

Как ряд нагих грудей, Антоний [104], пред тобой;

А эти, ладонку прижав у страстной груди,

Прикрыв одеждами бичи, среди дубрав,

Стеня, скитаются во мгле ночных безлюдий,

С слюною похоти потоки слез смешав.

О девы-демоны, страдалицы святые,

Для бесконечного покинувшие мир,

Вы — стоны горькие, вы — слезы пролитые,

Вы чище Ангела, бесстыдней, чем сатир.

О сестры бедные! скорбя в мечтах о каждой,

В ваш ад за каждою я смело снизойду,

Чтоб души, полные неутолимой жаждой,

Как урны, полные любви, любить в аду!le français

CXII

ДВЕ СЕСТРИЦЫ

Разврат и Смерть, — трудясь, вы на лобзанья щедры;

Пусть ваши рубища труд вечный истерзал,

Но ваши пышные и девственные недры

Деторождения позор не разверзал.

Отверженник-поэт, что, обреченный аду,

Давно сменил очаг и ложе на вертеп.

В вас обретет покой и горькую усладу:

От угрызения спасут вертеп и склеп.

Альков и черный гроб, как два родные брата,

В душе, что страшными восторгами богата,

Богохуления несчетные родят;

Когда ж мой склеп Разврат замкнет рукой тлетворной,

Пусть над семьею мирт, собой чаруя взгляд,

Твой кипарис [105], о Смерть, вдруг встанет тенью черной!le français

CXIII

ФОНТАН КРОВИ

Струится кровь моя порою, как в фонтане,

Полна созвучьями ритмических рыданий.

Она медлительно течет, журча, пока

Повсюду ищет ран тревожная рука.

Струясь вдоль города, как в замкнутой поляне,

Средь улиц островов обозначая грани,

Поит всех жаждущих кровавая река

И обагряет мир, безбрежно широка.

Я заклинал вино — своей струей обманной

Душе грозящий страх хоть на день усыпить;

Но слух утончился, взор обострился странно;

Я умолял Любовь забвение пролить;

И вот, как ложем игл, истерзан дух любовью,

Сестер безжалостных поя своею кровью.le français

CXIV

АЛЛЕГОРИЯ

To — образ женщины с осанкой величавой,

Чья прядь в бокал вина бежит волной курчавой,

С чьей плоти каменной бесчувственно скользят

И когти похоти, и всех вертепов яд.

Она стоит, глумясь над Смертью и Развратом.

А им, желанием все сокрушать объятым,

Перед незыблемой, надменной Красотой

Дано смирить порыв неудержимый свой.

Султанша томностью, походкою — богиня;

Лишь Магометов рай — одна ее святыня;

Раскрыв объятья всем, она к себе зовет

Весь человеческий неисчислимый род.

Ты знаешь, мудрая, чудовищная дева,

Что и бесплодное твое желанно чрево,

Что плоть прекрасная есть высочайший дар,

Что всепрощение — награда дивных чар;

Чистилище и Ад ты презрела упорно;

Когда же час пробьет исчезнуть в ночи черной,

Как вновь рожденная, спокойна и горда,

Ты узришь Смерти лик без гнева, без стыда.le français

CXV

БЕАТРИЧЕ [106]

В пустыне выжженной, сухой и раскаленной

Природе жалобы слагал я, исступленный,

Точа в душе своей отравленный кинжал,

Как вдруг при свете дня мне сердце ужас сжал:

Большое облако, предвестье страшной бури,

Спускалось на меня из солнечной лазури,

И стадо демонов оно несло с собой,

Как злобных карликов, толпящихся гурьбой.

Но встречен холодно я был их скопом шумным;

Так встречная толпа глумится над безумным.

Они, шушукаясь, смеялись надо мной

И щурились, глаза слегка прикрыв рукой:

«Смотрите, как смешна карикатура эта,

Чьи позы — жалкая пародия Гамлета,

Чей взор — смущение, чьи пряди ветер рвет;

Одно презрение у нас в груди найдет

Потешный арлекин, бездельник, шут убогий,

Сумевший мастерски воспеть свои тревоги

И так пленить игрой искусных поз и слов

Цветы, источники, кузнечиков, орлов,

Что даже мы, творцы всех старых рубрик, рады

Выслушивать его публичные тирады!»

Гордец, вознесшийся высокою душой

Над грозной тучею, над шумною толпой,

Я отвести хотел главу от жалкой своры;

Но срам чудовищный мои узрели взоры..

(И солнца светлая не дрогнула стезя!)

Мою владычицу меж них увидел я:

Она насмешливо моим слезам внимала

И каждого из них развратно обнимала.le français

CXVI

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ЦИТЕРУ [107]

Как птица, радостно порхая вкруг снастей,

Мой дух стремился вдаль, надеждой окрыленный,

И улетал корабль, как ангел, опьяненный

Лазурью ясною и золотом лучей.

Вот остров сумрачный и черный… То — Цитера,

Превознесенная напевами страна;

О, как безрадостна, безжизненна она!

В ней — рай холостяков, в ней скучно все и серо.

Цитера, остров тайн и праздников любви,

Где всюду реет тень классической Венеры,

Будя в сердцах людей любовь и грусть без меры,

Как благовония тяжелые струи;

Где лес зеленых мирт свои благоуханья

Сливает с запахом священных белых роз,

Где дымкой ладана восходят волны грез,

Признания любви и вздохи обожанья;

Где несмолкаемо воркуют голубки!

— Цитера — груда скал, утес бесплодный, мглистый,

Где только слышатся пронзительные свисты,

Где ужас узрел я, исполненный тоски!

О нет! То не был храм, окутанный тенями,

Где жрица юная, прекрасна и легка,

Приоткрывая грудь дыханью ветерка,

В цветы влюбленная, сжигала плоть огнями;

Лишь только белые спугнули паруса

Птиц возле берега и мы к нему пристали,

Три черные столба нежданно нам предстали,

Как кипарисов ряд, взбегая в небеса.

На труп повешенный насев со всех сторон,

Добычу вороны безжалостно терзали

И клювы грязные, как долота, вонзали

Во все места, и был он кровью обагрен.

Зияли дырами два глаза, а кишки

Из чрева полого текли волной тлетворной,

И палачи, едой пресытившись позорной,

Срывали с остова истлевшие куски.

И морды вверх подняв, под этим трупом вкруг

Кишели жадные стада четвероногих,

Где самый крупный зверь средь стаи мелких многих

Был главным палачом с толпою верных слуг.

А ты, Цитеры сын, дитя небес прекрасных!

Все издевательства безмолвно ты сносил,

Как искупление по воле высших сил

Всех культов мерзостных и всех грехов ужасных.

Твои страдания, потешный труп, — мои!

Пока я созерцал разодранные члены,

Вдруг поднялись во мне потоки желчной пены,

Как рвота горькая, как давних слез ручьи.

Перед тобой, бедняк, не в силах побороть

Я был забытый бред среди камней Цитеры;

Клюв острый ворона и челюсти пантеры

Опять, как некогда, в мою вонзились плоть!

Лазурь была чиста, и было гладко море;

А мозг окутал мрак, и, гибелью дыша,

Себя окутала навек моя душа

Тяжелым саваном зловещих аллегорий.

На острове Любви я мог ли не узнать

Под перекладиной свое изображенье?..

О, дай мне власть, Господь, без дрожи отвращенья

И душу бедную и тело созерцать!le français

CXVII

АМУР И ЧЕРЕП [108]

СТАРИННАЯ ВИНЬЕТКА

Амур бесстыдно и проворно

                    На череп мира сел,

Как царь на троне, и задорно

                    И беззаботно смел;

Хохочет он — и выдувает

                    Рой круглых пузырей,

И каждый в небо уплывает,

                    К другим мирам, скорей.

Но каждый хрупкий шар, сверкая,

                    Высоко вознесен,

Вдруг лопнет, душу испуская,

                    Как золотистый сон.

И каждый раз, вздохнув глубоко,

                    Печалится мертвец:

— Игре веселой и жестокой

                    Настанет ли конец?

Иль ты, палач, не замечаешь,

                    Что в воздух вновь и вновь

Мой мозг безумно расточаешь

                    И плоть мою и кровь!le français

МЯТЕЖ

CXVIII

ОТРЕЧЕНИЕ СВ. ПЕТРА [109]

Творец! анафемы, как грозная волна,

Несутся в высь, к твоим блаженным серафимам.

Под ропот их ты спишь в покое нерушимом,

Как яростный тиран, упившийся вина!

Творец! затерзанных и мучеников крики

Тебе пьянящею симфонией звучат;

Ужель все пытки их, родя кровавый чад,

Не переполнили еще твой свод великий?

Исус! Ты помнишь ли свой Гефсиманский сад? [110]

Кому молился ты, коленопреклоненный?

Тому ль, кто хохотал, заслышав отдаленный

Позорный стук гвоздей, твоим мученьям рад?

Когда божественность безумно осквернялась

Развратом стражников и гнусной сворой слуг,

Когда шипы венца вонзились в череп вдруг,

Где человечество несметное вмещалось,

Когда повиснул ты, и тела тягота

Двух рук раскинутых вытягивала жилы,

Когда кровавый пот струил твой лоб унылый,

И стал посмешищем вид твоего креста:

Тогда мечтал ли ты о той поре счастливой,

Когда, свершая свой божественный обет,

Ослицей нежною ты был влеком, твой след

Цветами убран был и ветками оливы;

Когда ты весь был гнев, когда рука твоя

Всех этих торгашей безжалостно разила?

Боль угрызения не раньше ли пронзила

Твое ребро, Исус, чем острие копья [111]?

— Я брошу этот мир без слез, без огорчений:

Здесь бьется жизнь, с мечтой деянье разлуча;

Пусть, обнажив свой меч, я сгибну от меча, —

О Петр, клянусь, ты прав в безумьи отречений!le français

CXIX

АВЕЛЬ И КАИН [112]

I

Род Авеля! ты ешь и пьешь,

Твой взор согрет улыбкой Бога;

А ты, род Каинов, ползешь,

И смерть в грязи — твоя дорога!

Род Авеля! твой щедрый дар

У Серафима нос щекочет;

Род Каина! проклятых кар

Твоих убавить Бог не хочет!

Род Авеля! твой сев возрос,

Твой тучен скот — и пышны оба;

Род Каина! как старый пес,

В тебе рычит твоя утроба!

Род Авеля! зимой очаг

Тебя согреет в должной мере;

Род Каина! ты вечно наг,

Ты, как шакал, дрожишь в пещере.

Род Авеля! и плоть и кость

Твои, любя, потомство множит;

Род Каина, весь — страсть и злость,

Чужой восторг лишь видеть может!

Род Авеля! в лесах клопы

С тобой поспорят в размноженьи;

Род Каина! не все ль тропы

Тебе сулят изнеможенье?

II

Род Авеля! Твой труп пожрут

Земли дымящиеся недра;

Род Каина! за гнет и труд

Твой враг тебе заплатит щедро!

Род Авеля! в последний миг

Что меч, коль вкруг рогатин много?

Род Каина небес достиг

И наземь низвергает Бога!le français

CXX

ЛИТАНИЯ [113]САТАНЕ

О ты, всех Ангелов мудрейший, славный гений,

О Бог развенчанный, лишенный песнопений!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Владыка изгнанный, безвинно осужденный,

Чтоб с силой новою воспрянуть, побежденный!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, царь всеведущий, подземных стран владыко,

Целитель душ больных от горести великой!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Для всех отверженцев, всех парий, прокаженных

Путь указующий к обителям блаженных!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Любовник Смерти, Ты, для нас родивший с нею

Надежду, — милую, но призрачную фею!..

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, осужденному дающий взор холодный,

Чтоб с эшафота суд изречь толпе народной!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, знающий один, куда в земной утробе

Творцом сокровища укрыты в алчной злобе!

           Мои томления помилуй, Сатана!

О ты, чей светлый взор проникнул в арсеналы,

Где, скрыты в безднах, спят безгласные металлы!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, охраняющий сомнамбул от падений

На роковой черте под властью сновидений!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, кости пьяницы, не взятые могилой,

Восстановляющий магическою силой!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, дух измученный утешив новой верой,

Нас научающий мешать селитру с серой! [114]

           Мои томления помилуй, Сатана!

О ты, на Креза [115]лоб рукою всемогущей

Клеймо незримое предательски кладущий!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, развращающий у дев сердца и взгляды

И их толкающий на гибель за наряды!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Ты, посох изгнанных, ночных трудов лампада,

Ты, заговорщиков советчик и ограда!

           Мои томления помилуй, Сатана!

Усыновитель всех, кто, злобою сгорая,

Изгнали прочь отца из их земного рая!

           Мои томления помилуй, Сатана!

МОЛИТВА

Тебе, о Сатана, мольбы и песнопенья!

О, где бы ни был ты: в лазурных небесах,

Где некогда царил, иль в адских пропастях,

Где молча опочил в час страшного паденья, —

Пошли душе моей твой непробудный сон

Под древом роковым добра и зла познанья,

Когда твое чело, как храма очертанья,

Ветвями осенит оно со всех сторон!le français

СМЕРТЬ

CXXI

СМЕРТЬ ЛЮБОВНИКОВ

Мы ляжем, как в гроба, в глубокие диваны,

Цветов тропических расставим вкруг леса —

Для нас соткали их иные небеса —

И ложе смертное обвеет запах пряный!

Два сердца верные, последний жар храня,

Зажгутся пламенем двух факелов широких,

И в глубине двух душ, как двух зеркал глубоких,

Скользнут два отблеска ответного огня!

В тот вечер розовый, таинственно-лазурный

Мы все мерцания в единый луч сольем,

Как в долгий, тяжкий стон — слова разлуки бурной!

О верный Ангел наш, ты к нам приди потом,

Открой с улыбкой дверь в покой любви печальный,

Зажги померкший свет и тусклый лик зеркальный!le français

CXXII

СМЕРТЬ БЕДНЯКОВ

Лишь Смерть утешит нас и к жизни вновь пробудит,

Лишь Смерть — надежда тем, кто наг, и нищ, и сир,

Лишь Смерть до вечера руководить нас будет

И в нашу грудь вольет свой сладкий эликсир!

В холодном инее и в снежном урагане

На горизонте мрак лишь твой прорежет свет,

Смерть — ты гостиница, что нам сдана заране,

Где всех усталых ждет и ложе и обед!

Ты — Ангел: чудный дар экстазов, сновидений

Ты в магнетических перстах ко всем несешь,

Ты оправляешь одр нагим, как добрый гений;

Святая житница, ты всех равно сберешь;

Отчизна древняя и портик ты чудесный,

Ведущий бедняка туда, в простор небесный!le français

CXXIII

СМЕРТЬ ХУДОЖНИКОВ

Не раз раздастся звон потешных бубенцов;

Не раз, целуя лоб Карикатуры мрачной,

Мы много дротиков растратим неудачно,

Чтоб цель достигнута была в конце концов!

Мы много панцирей пробьем без состраданья,

Как заговорщики коварные хитря,

И адским пламенем желания горя —

Пока предстанешь ты, великое созданье!

А вы, что Идола не зрели никогда!

А вы, ваятели, что, плача, шли дотоле

Дорогой горькою презренья и стыда!

Вас жжет одна мечта, суровый Капитолий [116]!

Пусть Смерть из мозга их взрастит свои цветы,

Как солнце новое, сверкая с высоты!le français

CXXIV

КОНЕЦ ДНЯ

В неверных отблесках денницы

Жизнь кружит, пляшет без стыда;

Теней проводит вереницы

И исчезает навсегда.

Тогда на горизонте черном

Восходит траурная Ночь,

Смеясь над голодом упорным

И совесть прогоняя прочь;

Тогда поэта дух печальный

В раздумьи молвит: «Я готов!

Пусть мрак и холод погребальный

Совьют мне траурный покров,

И сердце, полное тоскою,

Приблизят к вечному покою!»le français

CXXV

МЕЧТА ЛЮБОПЫТНОГО

К Ф.Н. [117]

Тоску блаженную ты знаешь ли, как я?

Как я, ты слышал ли всегда названье: «Странный»?

Я умирал, в душе влюбленной затая

Огонь желания и ужас несказанный.

Чем меньше сыпалось в пустых часах песка,

Чем уступала грусть послушнее надежде,

Тем тоньше, сладостней была моя тоска;

Я жаждал кинуть мир, родной и близкий прежде.

Тянулся к зрелищу я жадно, как дитя,

Сердясь на занавес, волнуясь и грустя…

Но Правда строгая внезапно обнажилась:

Зарю ужасную я с дрожью увидал,

И понял я, что мертв, но сердце не дивилось.

Был поднят занавес, а я чего-то ждал.le français

CXXVI

ПУТЕШЕСТВИЕ

Максиму Дюкану [118]

I

Дитя, влюбленное и в карты и в эстампы,

Чей взор вселенную так жадно обнимал, —

О, как наш мир велик при скудном свете лампы,

Как взорам прошлого он бесконечно мал!

Чуть утро — мы в пути; наш мозг сжигает пламя;

В душе злопамятной желаний яд острей,

Мы сочетаем ритм с широкими валами,

Предав безбрежность душ предельности морей.

Те с родиной своей, играя, сводят счеты,

Те в колыбель зыбей, дрожа, вперяют взгляд,

Те тонут взорами, как в небе звездочеты,

В глазах Цирцеи — пьют смертельный аромат. [119]

Чтоб сохранить свой лик, они в экстазе славят

Пространства без конца и пьют лучи небес;

Их тело лед грызет, огни их тело плавят,

Чтоб поцелуев след с их бледных губ исчез.

Но странник истинный без цели и без срока

Идет, чтобы идти, — и легок, будто мяч;

Он не противится всесильной воле Рока

И, говоря «Вперед!», не задает задач.

II

Увы! Мы носимся, вертясь как шар, и каждый

Танцует, как кубарь, но даже в наших снах

Мы полны нового неутолимой жаждой:

Так Демон бьет бичом созвездья в небесах.

Пусть цели нет ни в чем, но мы — всегда у цели;

Проклятый жребий наш — твой жребий, человек, —

Пока еще не все надежды отлетели,

В исканье отдыха лишь ускорять свой бег!

Мы — трехмачтовый бриг, в Икарию [120]плывущий,

Где «Берегись!» звучит на мачте, как призыв,

Где голос слышится, к безумию зовущий:

«О слава, о любовь!», и вдруг — навстречу риф!..

Невольно вскрикнем мы тогда: о, ковы Ада!

Здесь каждый островок, где бродит часовой,

Судьбой обещанный, блаженный Эльдорадо [121],

В риф превращается, чуть свет блеснет дневной.

В железо заковать и высадить на берег

Иль бросить в океан тебя, гуляка наш,

Любителя химер, искателя Америк,

Что горечь пропасти усилил сквозь мираж!

Задрав задорный нос, мечтающий бродяга

Вкруг видит райские, блестящие лучи,

И часто Капуей [122]зовет его отвага

Шалаш, что озарен мерцанием свечи.

III

В глазах у странников, глубоких словно море,

Где и эфир небес, и чистых звезд венцы,

Прочтем мы длинный ряд возвышенных историй;

Раскройте ж памяти алмазные ларцы!

Лишь путешествуя без паруса и пара,

Тюрьмы уныние нам разогнать дано;

Пусть, горизонт обняв, видений ваших чара

Распишет наших душ живое полотно.

Так что ж вы видели?

IV

                                 «Мы видели светила,

Мы волны видели, мы видели пески;

Но вереница бурь в нас сердца не смутила —

Мы изнывали все от скуки и тоски.

Лик солнца славного, цвет волн нежней фиалки

И озлащенные закатом города

Безумной грезою зажгли наш разум жалкий:

В небесных отблесках исчезнуть без следа.

Но чар таинственных в себе не заключали

Ни роскошь городов, ни ширина лугов:

В них тщетно жаждал взор, исполненный печали,

Схватить случайные узоры облаков.

От наслаждения желанье лишь крепчает,

Как полусгнивший ствол, обернутый корой,

Что солнца светлый лик вершиною встречает,

Стремя к его лучам ветвей широких строй.

Ужель ты будешь ввысь расти всегда, ужели

Ты можешь пережить высокий кипарис?..

Тогда в альбом друзей мы набросать успели

Эскизов ряд — они по вкусу всем пришлись!..

Мы зрели идолов, их хоботы кривые,

Их троны пышные, чей блеск — лучи планет,

Дворцы, горящие огнями феерии;

(Банкирам наших стран страшней химеры нет!)

И красочность одежд, пьянящих ясность взоров,

И блеск искусственный накрашенных ногтей,

И змей, ласкающих волшебников-жонглеров».

V

А дальше что?

VI

                     «Дитя! среди пустых затей

Нам в душу врезалось одно неизгладимо:

То — образ лестницы, где на ступенях всех

Лишь скуки зрелище вовек неустранимо,

Где бесконечна ложь и где бессмертен грех;

Там всюду женщина без отвращенья дрожи,

Рабыня гнусная, любуется собой;

Мужчина осквернил везде развратом ложе,

Как раб рабыни — сток с нечистою водой;

Там те же крики жертв и палачей забавы,

Дым пиршества и кровь все так же слиты там;

Все так же деспоты исполнены отравы,

Все так же чернь полна любви к своим хлыстам;

И там религии, похожие на нашу,

Хотят ворваться в Рай, и их святой восторг

Пьет в истязаниях лишь наслажденья чашу

И сладострастие из всех гвоздей исторг;

Болтлив не меньше мир, и, в гений свой влюбленный,

Он богохульствует безумно каждый миг,

И каждый миг кричит к лазури, исступленный:

„Проклятие тебе, мой Бог и мой Двойник!"

И лишь немногие, любовники Безумья,

Презрев стада людей, пасомые Судьбой,

В бездонный опиум ныряют без раздумья!

— Вот, мир, на каждый день позорный список твой!»

VII

Вот горькие плоды бессмысленных блужданий!

Наш монотонный мир одно лишь может дать

Сегодня, как вчера; в пустыне злых страданий

Оазис ужаса нам дан как благодать!

Остаться иль уйти? Будь здесь, кто сносит бремя,

Кто должен, пусть уйдет! Смотри: того уж нет,

Тот медлит, всячески обманывая Время —

Врага смертельного, что мучит целый свет.

Не зная отдыха в мучительном угаре,

Бродя, как Вечный Жид [123], презрев вагон, фрегат,

Он не уйдет тебя, проклятый ретиарий;

А тот малюткою с тобой покончить рад.

Когда ж твоя нога придавит наши спины,

Мы вскрикнем с тайною надеждою: «Вперед!»

Как в час, когда в Китай нас гнало жало сплина,

Рвал кудри ветр, а взор вонзался в небосвод;

Наш путь лежит в моря, где вечен мрак печальный,

Где будет весел наш неискушенный дух…

Чу! Нежащий призыв и голос погребальный

До слуха нашего слегка коснулись вдруг:

«Сюда, здесь Лотоса цветок благоуханный,

Здесь вкусят все сердца волшебного плода,

Здесь опьянит ваш дух своей отрадой странной

Наш день, не знающий заката никогда!»

Я тень по голосу узнал; со дна Пилады [124]

К нам руки нежные стремятся протянуть,

И та, чьи ноги я лобзал в часы услады,

Меня зовет: «Направь к своей Электре [125]путь!»

VIII

Смерть, капитан седой! страдать нет больше силы!

Поднимем якорь наш! О Смерть! нам в путь пора!

Пусть черен свод небес, пусть море — как чернилы,

В душе испытанной горит лучей игра!

Пролей же в сердце яд, он нас спасет от боли;

Наш мозг больной, о Смерть, горит в твоем огне,

И бездна нас влечет. Ад, Рай — не все равно ли?

Мы новый мирнайдем в безвестной глубине!le français